



# Артур Конан Дойл

Родни Стоун



Перевод с английского  
Раисы Облонской

*ФТМ*



Артур Конан Дойл

**Родни Стоун**

«ФТМ»

1896

**Дойл А.**

Родни Стоун / А. Дойл — «ФТМ», 1896

ISBN 978-5-4467-2796-4

Приключенческий роман «Родни Стоун» (1896) был среди произведений, любимых самим Конан Дойлом. В книге соединились три особенно близких писателю сферы: английская история, спорт и таинственность, требующая догадок и расследования. Герою книги придется не раз встретиться лицом к лицу с опасностью и проявить мужество и отвагу, чтобы наконец обрести положение, которое принадлежит ему по праву.

ISBN 978-5-4467-2796-4

© Дойл А., 1896

© ФТМ, 1896

# Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	24
Глава 5	30
Глава 6	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# Артур Конан-Дойл

## Родни Стоун

### Глава 1

#### Монахов дуб

Сегодня, первого января тысяча восемьсот пятьдесят первого года, девятнадцатый век перевалил на вторую половину, и многие из нас, те, кто делил с ним юность, уже получили не одно предупреждение, что годы не прошли для нас даром. Седовласые старики, мы собираемся вместе и вспоминаем былые славные дни, но когда заговариваем со своими детьми, оказывается, что они нас не понимают. Мы жили почти так же, как наши отцы, а вот наши дети, которые не представляют себе жизни без железных дорог и пароходов, – люди иного века. Можно, конечно, засадить их за учебники истории, и из этих учебников они узнают про нашу изнурительную двадцатидвухлетнюю борьбу с великим человеком, со злым гением. Они узнают, как свобода покинула просторы Европейского континента, как была пролита кровь Нельсона и разбито благородное сердце Питта, противоборствовавших ее исчезновению, не желавших, чтобы, найдя приют у наших братьев за океаном, она навеки покинула нас. Обо всем этом они прочтут в книгах, где точно указана дата того или иного договора, той или иной битвы, но откуда они узнают про нас самих, про то, что за люди мы были, как мы жили, каким представлялся нам мир, когда мы были так же молоды, как они сегодня?

Ежели я берусь за перо, чтобы рассказать вам обо всем этом, не ждите от меня рассказа о моей собственной жизни, ибо в те дни я был еще слишком молод и, хотя оказался свидетелем иных жизненных историй, моя собственная лишь начиналась. Историю жизни мужчины создает женщина, ее любовь, а до той минуты, когда я впервые заглянул в глаза матери моих детей, должно было пройти еще немало лет. Нам кажется, что мы встретились только вчера, а ведь наши дети уже легко достают в саду сливы, нам же для этого нужна лестница, и на дорожках, где мы, бывало, гуляли, держа их крохотные ручки, мы теперь рады опереться на их сильные руки. Рассказ мой будет о той поре, когда я знал только любовь моей собственной матери, и если вы ждете чего-то иного – отложите в сторону мою повесть, она не для вас. Но если вы готовы погрузиться со мною в тот забытый мир, если вы не прочь узнать Джима и Чемпиона Гаррисонов, если хотите познакомиться с моим отцом, одним из сподвижников адмирала Нельсона, если захотите взглянуть на самого великого моряка и на Георга, впоследствии недостойного короля Англии; если к тому же вы захотите увидеть моего знаменитого дядюшку, сэра Чарльза Треджеллиса, короля щеголей, и знаменитых бойцов, чьи имена еще и сегодня не сходят у вас с языка, тогда дайте мне руку, читатель, и отправимся в путь. Но, пожалуйста, не надейтесь найти во мне занимательного гида, не то вы будете разочарованы. Когда я смотрю на свои книжные полки, я вижу, что одни только мудрецы, остроумцы и храбрецы отваживаются писать о собственной жизни. Что же до меня, то если я не глупее и не трусливее других обыкновенных людей, этого с меня вполне довольно. Одно могу сказать о себе: искусники и умельцы хвалили мою голову, а мудрецы хвалили мои руки. И хвастать мне нечем – разве только одной врожденной способностью к музыке: я легко и быстро выучиваюсь играть на всяком музыкальном инструменте. Внешность у меня самая заурядная – роста я среднего, глаза не то серые, не то голубые, а волосы, пока природа не припорошила их сединой, были то ли светлые, то ли каштановые. Впрочем, одно я, пожалуй, могу сказать с уверенностью: во всю жизнь я ни разу никому не позавидовал, всегда восхищался людьми более одаренными и

всегда все видел таким, как оно есть на самом деле, в том числе и себя самого; думаю, это и дает мне право сейчас, в зрелые годы, писать свои воспоминания.

Итак, с вашего разрешения, отодвинем мою особу на самый задний план. Постарайтесь вообразить, будто я тонкая, бесцветная нить, на которую нанизываются жемчужины, и это будет как раз то, чего я хочу.

В нашем роду, в роду Стоунов, мужчины из поколения в поколение служили во флоте, и старшего сына у нас всегда нарекали именем любимого адмирала отца. Так можно проследить нашу родословную до самого Вернона Стоуна, который в сражении с голландцами командовал остроносим пятидесятипушечным кораблем с высокой кормой. После него был Хоук Стоун, потом Бенбоу Стоун и, наконец, мой батюшка, Энсон Стоун, который, в свою очередь, в году от Рождества Христова 1786-м в приходской церкви Св. Фомы в Портсмуте дал мне при крещении имя Родни.

Стоит мне поднять сейчас голову, как я вижу в саду за окном своего рослого мальчика, и если я его окликну, вы поймете, что и я остался верен традициям нашего рода: его зовут Нельсон.

Моя дорогая матушка, лучшая из матерей, была второй дочерью преподобного Джона Треджеллиса, священника в Милтоне, скромном сельском приходе, граничащем с Лэнгстонскими топиями. Семья ее была небогатая, но с положением, ибо ее старший брат был тот самый сэр Чарльз Треджеллис, который унаследовал богатство одного индийского купца и был одно время притчей во языцех, да к тому же состоял в близкой дружбе с принцем Уэльским. Далее я еще расскажу вам о нем, а пока заметьте только, что он был мой родной дядя и брат моей матушки.

Я помню ее на протяжении почти всей ее прекрасной жизни, ибо она вышла замуж очень юной, и в ту пору, когда я впервые запомнил ее нежный голос и хлопотливые руки, она была еще совсем молоденькая. Матушка представляется мне прелестной женщиной с добрыми, кроткими глазами, роста, правда, небольшого, но зато с горделивой осанкой. Помню, в те дни она всегда носила платье из какой-то сиреневой переливающейся ткани и белый платок на высокой белой шее, и ее ловкие пальцы, вооруженные вязальным крючком или спицами, сновали, как челнок. Вот она передо мной в зрелых годах, нежная и любящая, что-то придумывает, изобретает, изворачивается, чтобы на скудное лейтенантское жалованье вести хозяйство и не ударить лицом в грязь перед соседями. И теперь, стоит мне только войти в гостиную, и я снова ее вижу – за плечами у нее восемьдесят с лишним лет безгрешной жизни, волосы уже совсем седые, лицо спокойное; на ней изящный, отделанный лентами чепец, очки в золотой оправе, на плечах шерстяная шаль с голубой каймой. Я любил ее молодую и люблю в старости, и, когда ее не станет, она унесет с собою что-то, чего уже никогда ничем не заменишь. У вас, быть может, много друзей, читатель, вы, быть может, не однажды вступали в брак, но мать у вас одна, и второй не будет, а потому лелейте ее, пока можете, ибо настанет день, когда всякий опрометчивый поступок, всякое сказанное ей необдуманное слово вновь вернется к вам и еще большее ужалит ваше собственное сердце.

Такова была моя матушка. Что до моего батюшки, то я смогу описать его лучше, как только дойду в своем рассказе до времени, когда он вернулся домой со Средиземного моря. Все детство я знал лишь его имя да лицо на миниатюре, которую матушка всегда носила на шее в медальоне. Поначалу мне говорили, что он сражается с французами, а потом, с годами, стали говорить уже не о французах, а все больше о генерале Буонапарте. Помню, с каким благоговейным страхом я смотрел на гравированный портрет великого корсиканца, выставленный в витрине книжного магазина на Томас-стрит в Портсмуте. Так вот он каков, заклятый враг, в жестоком и нескончаемом поединке с которым прошла жизнь моего батюшки! В моем детском воображении они дрались один на один, и я всегда представлял себе, что мой отец и этот бритый тонкогубый господин сошлись врукопашную и никак не могут одолеть друг друга в

смертельной, затянувшейся на годы схватке. И только в школе я понял, как много на свете мальчиков, чьи отцы, как и мой, сражались с Буонапарте.

За все эти долгие годы батюшка мой лишь однажды побывал дома – вот что значило в те дни быть женой моряка. Он приехал к нам почти сразу после того, как мы переселились из Портсмута в Монахов Дуб, и пожил с нами неделю перед тем, как отправиться в плавание с адмиралом Джервисом, чтобы помочь ему стать лордом Сент-Винсентом. Помнится, он испугал и пленил меня бесконечными рассказами о сражениях, и я вспоминаю, точно это было вчера, с каким ужасом я глядел на пятно крови на кружевной манжетке его рубашки, хотя появилось оно, конечно же, всего лишь из-за оплошности при бритье. Но в ту пору я не сомневался, что это кровь какого-нибудь поверженного француза или испанца, и в ужасе отшатывался, когда он гладил меня по голове своей загрубевшей рукой. Потом он уехал, и матушка горько плакала, а я глядел, как его синий мундир и белые панталоны удаляются по садовой дорожке, и не испытывал ни малейшего огорчения – со свойственным ребенку бессознательным эгоизмом я чувствовал, что без него мы с матушкой гораздо ближе друг другу.

Когда мы переехали из Портсмута в Монахов Дуб, мне шел одиннадцатый год; перебраться в это небольшое селение в графстве Суссекс, к северу от Брайтона, нам посоветовал мой дядя, сэр Чарльз Треджеллис: тут неподалеку была расположена усадьба одного из его высокопоставленных друзей, лорда Эйвона. Мы покинули Портсмут, потому что сельская жизнь дешевле, и, кроме того, вне круга людей, которым матушка по своему положению вынуждена была оказывать гостеприимство, она могла без большого труда сохранить видимость уклада, какой подобает благородному семейству. То были тяжелые времена для всех, кроме фермеров, – они, как я слышал, вполне могли возделывать лишь половину своей земли и все-таки жить припеваючи: пшеница в ту пору была в цене, она стоила по сто десять шиллингов за четверть, а четырехфунтовый хлеб – шиллинг и девять пенсов. И даже в нашем скромном домике мы сводили концы с концами только благодаря тому, что отец служил на одном из кораблей эскадры, державшей блокаду, где изредка перепадал случай получить призовые. Линейные корабли, крейсировавшие у Бреста, не могли заработать ничего, кроме славы, но фрегаты захватывали каботажные суда, которые – таков был закон – становились собственностью флота, весь их груз обращался в деньги, и их выдавали в качестве призовых.

Таким образом, денег, которые посылал отец, хватало на то, чтобы содержать дом и отдать меня в школу мистера Джошуа Аллена, где за четыре года я превзошел все, чему он мог научить. Там я и познакомился с Джимом Гаррисоном, племянником деревенского кузнеца, Чемпиона Гаррисона. Малыш Джим мы его называли. Вот он передо мной, каким он был в то время, – большие, нескладные и неловкие руки и ноги, точно лапы у щенка ньюфаундленда, а лицо такое, что все женщины на него оглядывались. В те дни и началась наша дружба, дружба, которая продолжалась всю жизнь и сейчас, на склоне лет, все еще связывает нас узами братства. Я помогал ему делать уроки, ибо самый вид книги внушал ему отвращение, а он, в свою очередь, учил меня боксировать, бороться, ловить руками форель в Эйдре и ставить ловушки на кроликов, – руки его были так же скоры, как нетороплива мысль. Но он был двумя годами старше меня и задолго до того, как я кончил учение, начал помогать своему дяде в кузнице.

Монахов Дуб расположен в одной из долин Даунса, и столб с пометой «сорок третья миля» на пути от Лондона к Брайтону стоит как раз на окраине. Это совсем небольшое селение с увитой плющом церковью, красивым домом священника и выстроившимися в ряд домиками из красного кирпича, каждый в своем собственном садике. На одном конце перед домом Чемпиона Гаррисона стояла кузница, а на другом – школа мистера Аллена. Мы жили в желтом домике чуть поодаль от дороги; его второй этаж был слегка выдвинут вперед, и из штукатурки выступали черные деревянные балки. Не знаю, цел ли он там и поныне, но скорее всего цел, ибо в таких местах веками ничего не меняется.

Прямо напротив нас, через широкую меловую дорогу, стояла гостиница, которую в ту пору содержал Джон Каммингз; в нашем селении Каммингз пользовался отличной репутацией, но вдали от дома способен был, как вы увидите дальше, на странные выходки. Хотя движение на дороге было довольно оживленное, но от Брайтона до нас было рукой подать, и лошади не успевали притомиться; тем же, кто ехал из Лондона, не терпелось поскорей добраться до места, так что, если бы не случались какие-нибудь поломки да не соскакивали колеса, хозяину приходилось бы рассчитывать на одних только сельских выпивох. В те дни принц Уэльский только что возвел у моря дворец, и в брайтонский сезон, то есть с мая по сентябрь, мимо наших дверей каждый божий день с грохотом проносилось от ста до двухсот карет, колясок и фаэтонов. Летними вечерами мы с Джимом нередко растягивались на траве при дороге, во все глаза глядели на знатных господ и громкими радостными криками встречали лондонские экипажи; они с грохотом мчались мимо, окутанные облаками пыли, коренники и передовые кони тянули изо всех сил, пронзительно заливались рожки, на кучерах были шляпы с низкими тульями и с изогнутыми полями, и лица их пылали таким же алым цветом, как их ливреи. Когда Джим криками приветствовал пассажиров, они лишь смеялись, но если бы они могли разглядеть его большие, хоть и не совсем еще оформившиеся руки и ноги и широкие плечи, они, быть может, поглядели бы на него внимательнее и не оставили бы его приветствие без ответа.

Джим не помнил ни отца, ни матери, он все детство прожил со своим дядей, Чемпионом Гаррисоном. Гаррисон был сельский кузнец, а Чемпионом его прозвали потому, что он выступал против Тома Джонсона, когда тот был чемпионом Англии, и, конечно, побил бы его, если бы бедфордширские власти не прервали бой. Многие годы не было в Англии такого выносливого боксера, как Гаррисон, и никто лучше его не умел нанести последний решающий удар, хотя, как я понимаю, он не был скор на ноги. А потом случилось так, что в бою с Черным Барухом он под конец нанес такой сокрушительный удар, что тот не только перелетел через канаты, но и долгие три недели находился между жизнью и смертью. Все это время Гаррисон был точно помешанный, он каждую минуту ждал, что вот сейчас тяжелая рука полицейского опустится ему на плечо и его будут судить за убийство. Этот случай и мольбы жены заставили его навсегда отказаться от бокса, и всю свою недюжинную силу он направил на ту единственную профессию, в которой был от нее толк. Суссекским фермерам и многочисленным проезжим постоянно требовались услуги кузнеца, так что Гаррисон быстро разбогател и, сидя по воскресеньям в церкви с женой и племянником, выглядел человеком весьма почтенным.

Росту Гаррисон был небольшого, всего пяти футов и семи дюймов, и, будь у него руки хоть на дюйм длиннее, он ни в чем бы не уступил Джексону или Белчеру в их лучшую пору. Грудь у него была колесом, а таких могучих предплечий я в жизни не видал: набухшие мышцы походили на обточенные волнами камни, а между ними пролегали глубокие впадины. Несмотря на огромную силу, он был человек тихий, благонравный и добрый – всеобщий любимец в нашей округе. Его крупное, невозмутимое, выбритое лицо становилось в иных случаях очень суровым, но для меня, да и для всех детей у него всегда находилась приветливая улыбка и веселый взгляд. Все нищие, сколько их было в нашей округе, знали, что сердце его так же мягко, как тверды мышцы.

Больше всего на свете он любил рассказывать про свои бывшие схватки, но стоило невдалеке показаться его женошке, как он тут же замолкал, ибо одна тень постоянно омрачала ее жизнь: она боялась, что рано или поздно он забросит кувалду и рашпиль и снова вернется на ринг. Не забывайте, что в ту пору бокс не утратил еще доброй славы. Но постепенно общественное мнение стало относиться к нему враждебно по той причине, что он перешел в руки мошенников и около ринга начали подвизаться всякие негодяи. Даже самый честный и храбрый боксер невольно оказывался средоточием всяческих подлостей и спекуляций, так же как это бывает с ни в чем не повинными благородными скаковыми лошадьми. Вот почему бокс

доживает в Англии последние дни, и можно думать, что, когда Конту и Бендиго придет конец, заменить их будет некому. Но в дни, о которых я рассказываю, все было совсем иначе. Общественное мнение всячески поддерживало бокс, и на то были серьезные причины. Шла война; армия и флот Англии состояли сплошь из добровольцев, вояк по призванию, и им предстояло, как и в наши дни, противостоять государству, которое в силу царившего в нем деспотизма могло любого гражданина превратить в солдата. Если бы англичане не были одержимы страстью ко всякого рода поединкам, Англии бы не миновать поражения. И в ту пору полагали – и не без оснований, – что схватка двух бесстрашных бойцов на глазах у тридцати тысяч зрителей, которую к тому же обсуждают еще три миллиона человек, помогает воспитывать в людях смелость и выносливость. Спорт этот, что и говорить, жестокий, и именно жестокость приведет его к гибели, но он не так жесток, как война, которая его переживет. Разумно ли поэтому воспитывать граждан в духе миролюбия сейчас, когда от их воинственности может зависеть само их существование, – это решать людям поумнее меня. Но так мы судили в дни, когда были еще живы ваши деды, и вот почему такие государственные мужи и филантропы, как Уиндем, Фокс и Олторп, всячески поддерживали ринг.

Покровительство столь достойных людей уже само по себе, казалось, было залогом того, что на ринге не будет места ни мошенничеству, ни грязи, которые в конце концов туда проникли.

Больше двадцати лет, в дни Джексона, Брейна, Крибба, Белчеров, Пирса, Галли и других, на ринге задавали тон люди, чья честность была вне подозрений, и именно в это двадцатилетие ринг, как я уже говорил, способствовал благу государства. Всем известно, что Пирс в Бристоле вынес из горящего дома девушку, что Джексон заслужил уважение и дружбу лучших умов тех дней, что Галли был избран в первый после реформы парламент. Вот каковы были тогда лучшие боксеры, да к тому же каждому было ясно, что пьянице или развратнику здесь не преуспеть. Разумеется, в семье не без уроды – были и негодяи вроде Хикмена и грубые животные вроде Беркса; но в большинстве это были люди честные, храбрые, невероятно выносливые, и они делали честь стране, которая их взрастила. Как вы увидите дальше, мне довелось познакомиться с некоторыми из них довольно близко, и я знаю, что говорю.

Все наше селение очень гордилось, что среди нас живет такой человек, как Чемпион Гаррисон, и всякий, кто останавливался в гостинице, непременно шел к кузнице, чтобы взглянуть на него. И поглядеть было на что, особенно зимним вечером, когда они с Джимом размахивали молотами и при каждом ударе по раскаленному лемеху плуга разлетались во все стороны искры, окружая их сверкающим ореолом, а красное сияние горна бросало отсвет на могучие бицепсы дяди и на гордый ястребиный профиль племянника. Чемпион Гаррисон с размаху ударял один раз тридцатифунтовой кувалдой, а Джим дважды ручным молотом, и стоило мне услышать «кланк, клинк-клинк, кланк, клинк-клинк!», как я тут же со всех ног бежал к кузнице в надежде, что, раз оба они у наковальни, меня, быть может, допустят к кузнечным мехам.

За все годы, прожитые в Монаховом Дубе, мне вспоминается лишь один случай, когда Чемпион Гаррисон на мгновение вдруг стал тем человеком, каким был прежде. Как-то летом, поутру, когда мы с Джимом стояли у дверей кузницы, на дороге со стороны Брайтона показалась карета, запряженная четырьмя свежими лошадьми; медь на сбруе празднично сияла, и мчалась карета с таким веселым звоном и громом, что Чемпион выскочил из кузницы, держа в руках еще зажатую клещами подкову. Господин в белой кучерской пелерине – знатный рингоман, как мы тогда называли аристократов – покровителей бокса, – правил коляской, а полдюжины его приятелей с хохотом и криками теснились у него за спиной. Быть может, он заметил рослого кузнеца и захотел подшутить над ним, а может, то была чистая случайность, но, когда карета мчалась мимо кузницы, двадцатифутовый кнут со свистом разрезал воздух и хлестнул по кожаному фартуку Гаррисона.

– Эй, сударь! – закричал кузнец вслед коляске. – Вам на козлах не место, вы еще с кнутом не научились управляться.

– Что такое? – воскликнул проезжий, осаживая лошадей.

– Советую вам поостеречься, господин хороший, не то не миновать кому-то окриветь на этой дороге.

– Ах, вот как? – сказал проезжий, вкладывая кнут в гнездо и стаскивая кучерские перчатки. – Сейчас я с тобой побеседую, любезный.

В ту пору знатные повесы были по большей части отличные боксеры, ибо тогда считалось модным пройти курс у Мендосы, как несколько лет спустя всякий светский человек почитал своим долгом потренироваться с Джексоном.

Удалые и заносчивые, они никогда не упускали возможности подраться, и почти всегда их случайные противники – лодочники, матросы – оказывались нещадно биты. И этот господин, видно, не сомневался в исходе стычки: он живо соскочил с козел, сбросил пелерину на трепало и изящно подвернул кружевные манжеты белой батистовой рубашки.

– Сейчас я тебе заплачу за совет, братец!

Господа, сидящие в карете, без сомнения, знали, кем был силач-кузнец, и, видя, в какую переделку попал их приятель, предвкушали отличное развлечение. Они громко хохотали и развеселыми голосами подавали ему всевозможные советы.

– Посбейте с него сажу, лорд Фредерик! – кричали они. – Покажите этому задире, где раки зимуют. Вываляйте в его собственной золе! Поживей, не то он даст тягу.

Распаленный этими криками, молодой аристократ с угрожающим видом направился к противнику. Кузнец словно врос в землю, губы его сурово сжались, и нахмурились кустистые брови над зоркими серыми глазами. Клещи он бросил, и руки его свободно повисли по бокам.

– Поберегись, господин хороший, – сказал он. – Не то как бы не было худа.

Голос его звучал так уверенно, все в нем дышало таким спокойствием, что молодой лорд насторожился. Он пристальнее взгляделся в противника и вдруг раскрыл рот и опустил руки.

– Черт подери! – воскликнул он. – Да ведь это Джек Гаррисон!

– Он самый, сударь.

– А я-то принял вас за какого-то грубияна. Да я не видел вас с того самого дня, когда вы чуть не убили Черного Баруха. Пришлось мне тогда выложить кругленькую сумму!

Ну и хохотали же его приятели!

– Попался! Попался, черт возьми! – вопили они. – Это Джек Гаррисон, боксер! Лорд Фредерик хотел одолеть бывшего чемпиона. Стукни его разок, Фред, и посмотри, что будет.

Но тот, хохоча чуть ли не громче всех, уже снова взобрался на козлы.

– На сей раз прощается, Гаррисон, – сказал он. – А это ваши сыновья?

– Это мой племянник, сударь.

– Вот ему гиня! Ему не придется жаловаться, что я лишил его дяди.

И так, посмеявшись над самим собой, он отвратил от себя насмешки приятелей, хлестнул лошадей, карета помчалась дальше, и через пять часов седоки уже были в Лондоне; Джек Гаррисон посмотрел вслед карете и, посвистывая, вернулся в кузницу кончать подкову.

## Глава 2

### Шаги в замке

Ну, хватит о Чемпионе Гаррисоне. Теперь я хочу рассказать поподробнее о Джиме – не только потому, что он был другом моего детства и юности, но и потому, что, как вы увидите дальше, эта книга повествует не столько обо мне, сколько о нем, и еще потому, что впоследствии он прославился и его имя было у всех на устах. Так что потерпите, пока я буду рассказывать о том, каков он был в те далекие времена, и особенно об одном удивительном происшествии, которое оба мы, вероятно, никогда не забудем.

Странно было видеть Джима рядом с его дядей и теткой – казалось, он был существом другой породы. Я часто видел, как все семейство в воскресный день входило в церковь – широкоплечий, коренастый мужчина, за ним маленькая, усталая, с тревожным взглядом женщина и позади чудесный юноша – четко очерченный профиль, черные кудри, а походка такая пружинистая, легкая, словно он не испытывал на себе силы притяжения, как все прочие тяжело ступавшие по земле жители наших мест. Он еще не достиг тогда своих шести футов росту, но у всякого мужчины (а уж о женщинах и говорить нечего) при одном взгляде на его широко развернутые плечи, узкие бедра, на гордую, орлиную посадку головы делалось радостно на душе, как бывает при виде всего прекрасного в природе, – когда кажется, что и ты тоже помогал сотворить это чудо красоты.

Но красоту мужчины мы привыкли связывать с изнеженностью. Не знаю, почему так повелось, и уж про Джима этого, во всяком случае, никак нельзя было сказать. Из всех, кого я знал, он был самый выносливый – и телом и душой. Кто из всех нас мог сравниться с ним в ходьбе, в беге, в плавании? Кто, кроме него, решился бы взобраться на стофутовый Уолстонский утес, а потом спуститься, не испугавшись самки сокола, которая вилась, хлопая крыльями, над самой его головой, тщетно пытаясь не подпустить его к своему гнезду? Ему едва исполнилось шестнадцать, и еще не все его кости окрепли и отвердели, а он уже одолел в бою цыгана Ли, который называл себя «Коноводом Южного Даунса». После этой драки Чемпион Гаррисон принялся сам обучать его боксу.

– Лучше бы ты не привыкал давать волю кулакам, Джим, – сказал он. – И тетка будет рада. Но уж если тебе без этого никак нельзя, я буду не я, если ты хоть перед кем отступишь в наших краях.

И он очень скоро сдержал свое обещание.

Я уже говорил, что книг Джим не любил, но это касалось только школьных учебников, ибо, когда ему попадался роман с приключениями, его, бывало, не оторвешь, пока он не дочитает все до конца. Стоило ему заполучить такую книгу – и Монахов Дуб и кузница переставали существовать, и он вместе с героями плывал по морям и океанам или путешествовал по всему свету. Джим и меня заражал своей увлеченностью, так что, когда он провозгласил себя Робинзоном, а рожицу в Клейтоне – необитаемым островом, где нам предстоит провести неделю, я с радостью согласился стать Пятницей. Но когда оказалось, что нам и вправду надо ночью спать под деревьями без подушек и одеял и что пищей нам должны служить овцы (он называл их дикими козами), изжаренные на костре, а огонь мы будем добывать из двух палок, которые заменят нам трут и огниво, мужество мне изменило, и я в первую же ночь сбежал домой. Но Джим оставался на своем острове всю долгую и к тому же сырую неделю, и возвратился он куда больше похожий на дикаря и куда более грязный, чем его герой на картинках в книжке. Хорошо, что он решил провести там всего неделю, ибо за месяц он бы умер от голода и холода, потому что вернуться домой ему бы не позволила гордость.

Гордость – вот что было главное в его натуре. На мой взгляд, гордость – это и достоинство и недостаток: достоинство – потому, что она удерживает человека от падения, от грязи; недостаток – потому, что, уж если человеку все-таки случилось упасть, она мешает ему подняться. Джим был гордец до мозга костей. Помните, молодой лорд, усевшись на козлы, бросил ему гинею? Два дня спустя кто-то подобрал ее в грязи на дороге. Джим лишь проводил ее взглядом, но не соизволил даже показать на нее нищему. И объяснять подобный поступок он ни за что не стал бы, а на все уговоры только презрительно скривил бы губы да сверкнул глазами. Джим и в школе вел себя так же, и столько в нем было чувства собственного достоинства, что и другим приходилось с этим считаться. Он вполне способен был заявить и заявил, что прямой угол – это не кривой угол или что Панама находится в Сицилии, но старик Джошуа Аллен и не подумал отделать его линейкой, как не подумал бы спустить подобную дерзость мне или кому-нибудь еще. Так что, хоть Джим был совсем никто, а я сын офицера его величества, я всегда считал, что он оказал мне большую честь, став моим другом.

Гордость Джима вовлекла нас однажды в историю, при воспоминании о которой у меня и сегодня волосы становятся дыбом.

Случилось это в тысяча семьсот девяносто девятом году, в августе или в самом начале сентября; помню только, что мы слышали, как в Пэтчемской роще куковала кукушка и Джим сказал, что, наверно, она кукует последние денечки. Я тогда еще ходил в школу, а Джим уже нет: ему было в ту пору без малого шестнадцать, а мне – тринадцать. По субботам уроки у нас кончались рано, и на этот раз мы почти весь день провели на холмах. Мы отправились в наше любимое местечко, за Уолстонбери, там можно было растянуться во всю длину на мягкой, упругой, припорошенной мелом траве, среди пушистых овечек, и болтать с пастухами, которые опирались на свои диковинные посохи, выделанные еще в те дни, когда в Суссексе производили больше железа, чем во всех прочих графствах Англии, вместе взятых.

Там-то мы и лежали в тот чудесный день. Стоило нам повернуться на правый бок – и перед нами оказывалась вся Южная Англия: в оливково-зеленых изгибах и складках, то там, то сям прорезанных белыми расщелинами меловых карьеров; а если повернуться на левый бок – далеко внизу расстилалась широкая синяя гладь Ла-Манша. Помню, в тот день по нему плыл караван судов – впереди, сбившись в кучу, несмело двигались «купцы»; по бокам, точно хорошо обученные овчарки, – фрегаты; а замыкали процессию два могучих гуртовщика, два линейных корабля. Мысли мои устремились к отцу, который тоже где-то сейчас плавал, но тут Джим вернул меня на землю, точно чайку с переломанным крылом.

– Родди, – окликнул он меня, – ты слышал, что в замке водятся привидения?

Слышал ли я! Еще бы! Да разве можно было сыскать во всей нашей округе хоть единого человека, который не слышал бы про привидение в замке?

– И ты знаешь, что там случилось?

– А как же? – сказал я не без гордости. – Кому же и знать, как не мне, ведь брат моей матери, сэр Чарльз Треджеллис, был самый близкий друг лорда Эйвона и играл у него в карты в тот самый день, когда это случилось. Да еще совсем недавно, на прошлой неделе, я слышал, как матушка говорила об этом со священником, и до того ясно все это представляю, будто своими глазами видел, как произошло убийство.

– Странная история, – задумчиво сказал Джим, – а когда я стал спрашивать тетку, она не захотела мне отвечать, а дядя и вовсе слова не дал вымолвить.

– Ничего удивительного, – ответил я, – ведь, говорят, лорд Эйвон был лучшим другом твоего дяди; конечно, ему неохота вспоминать про его позор.

– Расскажи мне, Родди.

– Это случилось давно, четырнадцать лет прошло, а никто до сих пор так ничего и не знает. Они приехали из Лондона вчетвером, хотели пожить несколько дней в старом замке лорда Эйвона. Его младший брат, капитан Баррингтон, и его родич сэр Лотиан Хьюм; третьим

был мой дядя, сэра Чарльз Треджеллис, а четвертым – сам лорд Эйвон. Все эти господа больше всего любят играть в карты на деньги, и они играли два дня кряду и одну ночь. Лорд Эйвон был в проигрыше, и сэра Лотиан, и мой дядя, а капитан Баррингтон все выигрывал и выигрывал, пока у них ничего больше не осталось. Он выиграл у них все деньги, но, самое главное, он выиграл у старшего брата какие-то бумаги, которыми тот очень дорожил. Игру кончили в понедельник поздней ночью. А во вторник утром капитана Баррингтона нашли на полу у его постели с перерезанным горлом.

– И убил его лорд Эйвон?

– На каминной решетке нашли наполовину сожженные бумаги лорда Эйвона. Убитый зажал в руке манжету лорда Эйвона, возле тела валялся нож лорда Эйвона.

– Значит, его повесили?

– Не успели. Он дождался, пока его уличили, и сбежал. С той поры его никто не встречал, но, говорят, он добрался до Америки.

– А привидение бродит по дому?

– Его многие видели.

– А почему дом до сих пор пустует?

– Потому что он под охраной закона. У лорда Эйвона не было детей, а сэра Лотиан Хьюм – это который играл тогда с ними в карты – его племянник и наследник. Но он не имеет права ничем распорядиться, пока не докажет, что лорд Эйвон умер.

Джим молча пощипывал пальцами невысокую траву.

– Родди, – сказал он наконец, – пойдешь со мной нынче ночью смотреть привидение?

При одной мысли об этом меня бросило в дрожь.

– Меня матушка не пустит.

– А ты сбеги из дому потихоньку, как она ляжет спать. Я буду ждать у кузницы.

– В замке все двери заперты.

– А я открою окно, это нетрудно.

– Я боюсь, Джим.

– Но ведь мы пойдем вместе, чего ж бояться, Родди. Ты на меня положишься, и никакие привидения тебя не тронут.

И я дал ему слово, что приду, но в этот день во всем Суссексе не было мальчишки несчастнее меня. Джиму все нипочем! А все его гордость, это она влечет его в замок. Он должен пойти хотя бы потому, что ни один человек в нашей округе на это не решится. Но у меня-то такой гордости нет. Я такой же, как все, и для меня провести ночь в замке с привидениями все равно что провести ее у виселицы Джейкоба на пустыре Дичлинга. Но не мог же я обмануть Джима, и я слонялся по дому, такой бледный и несчастный, что моя дорогая матушка решила, будто я наелся зеленых яблок и потому мне надо лечь пораньше, а вместо ужина выпить настой ромашки.

В те времена Англия укладывалась спать рано, ибо лишь очень немногие могли себе позволить роскошь покупать свечи. Когда пробило десять, я выглянул из окна – селение погружено было во тьму, только в гостинице еще горел огонь. Наши окна были совсем невысоко над землей, так что я выбрался из дому без труда, Джим уже ждал меня у кузницы. Мы вместе пересекли луг, миновали ферму Риддена и встретили по пути только двух или трех верховых. Дул свежий ветер, луна то пряталась, то проглядывала между облаками, дорога то серебрилась, то погружалась в непроглядную тьму, и мы забредали в заросли ежевики или вереска, росшего по обочинам. Наконец мы подошли к деревянным воротам с высокими каменными столбами и, поглядев сквозь решетку, увидели длинную дубовую аллею, а в глубине этого мрачного туннеля бледный лик дома, тускло светящийся под луной.

С меня было вполне достаточно одного вида этого дома и вздохов и стонов ночного ветра в ветвях. Но Джим распахнул калитку, и мы двинулись по аллее, а гравий поскрипывал у нас

под ногами. Старый дом вздымался высоко в небо, на стеклах множества окошек мерцали лунные блики, три его стены омывал ручей. Вскоре мы приблизились к высокой двери под аркой, сбоку от нее висела на петлях решетка.

– Нам повезло, Родди, – прошептал Джим. – Одно окно открыто.

– А может, хватит, а, Джим? – сказал я, стуча зубами от страха.

– Я тебя подсажу.

– Нет-нет, я не хочу первый.

– Тогда я сам полезу.

Он ухватился за подоконник, и вот его колено уже на окне.

– Ну, Родди, давай руки.

Рывком он подтянул меня вверх, и в следующее мгновение мы оба были в доме с привидениями.

Деревянный пол гулко охнул, когда мы спрыгнули с подоконника, казалось, внизу глумливыми раскатами отдавалось эхо. Мы застыли на месте, но тут Джим расхохотался.

– Ну совсем как старый барабан! – воскликнул он. – Сейчас засветим огонь, Родди, и поглядим, что тут есть.

У него в кармане оказались свеча и трутница. Пламя разгорелось, и мы увидели каменный свод и широкие сосновые полки, уставленные запыленной посудой. Мы попали в буфетную.

– Сейчас я покажу тебе дом, – весело сказал Джим и, распахнув дверь, первым вступил в зал. Помню высокие, с дубовыми панелями стены, украшенные оленьими головами, и в углу – белый мраморный бюст, при виде которого у меня сердце ушло в пятки. Отсюда можно было попасть во многие комнаты, и мы переходили из одной в другую – кухня, посудная, малая гостиная, столовая, – и всюду так же удушливо пахло пылью и плесенью.

– Тут они играли в карты, Джим, – вполголоса сказал я. – Вот за этим самым столом.

– Смотри-ка, и карты еще лежат! – воскликнул Джим и снял со столика побуревшее полотенце. Под ним и в самом деле оказались игральные карты, колод сорок, не меньше, – они лежали на этом месте с той самой трагической ночи, когда здесь играли в последний раз – еще до того, как я родился.

– Интересно, куда ведет эта лестница? – сказал Джим.

– Не ходи туда! – закричал я и схватил его за руку. – Она, наверно, ведет в комнату, где его убили.

– Откуда ты знаешь?

– Священник говорил, что на потолке они увидели... Ой, Джим, и сейчас видно!

Он поднял свечу – прямо над нами на белой штукатурке темнело большое пятно.

– Кажется, ты прав, – сказал Джим, – но я все равно пойду погляжу.

– Не надо, Джим, не надо! – взмолился я.

– Замолчи, Родди! Если боишься, можешь не ходить. Я мигом вернусь. Что толку искать встречи с привидениями, если... Боже милостивый, кто-то спускается по лестнице!

Я тоже услышал шаркающие шаги в комнате наверху, потом под чьими-то ногами скрипнула ступенька – раз, другой, третий... Лицо Джима было словно выточено из слоновой кости – рот полуоткрыт, глаза устремлены на черный проем двери, за которым начиналась лестница. Он все еще держал свечу в высоко поднятой руке, но пальцы его вздрагивали, и тени прыгали со стен на потолок. У меня просто подкосились ноги – я опустился на пол и скорчился позади Джима, и крик ужаса замер у меня в гортани. А шаги приближались.

Потом, едва осмеливаясь смотреть и, однако, не в силах отвести глаз, я различил в углу, где начиналась лестница, смутные очертания человеческой фигуры. Стало так тихо, что я слышал, как бьется мое перепуганное сердце, а когда снова поднял глаза, фигура исчезла, и только

вновь глухо поскрипывали ступени. Джим кинулся вдогонку, а я почти без чувств остался в комнате, освещенной теперь лишь луной.

Но так продолжалось недолго. Джим вернулся, взял меня под руку и потащил прочь из дома. Он заговорил, лишь когда мы очутились в прохладном ночном саду.

– Можешь стоять на ногах, Родди?

– Могу, только меня трясет.

– Меня тоже, – сказал он, проводя рукой по лбу. – Прости меня, Родди. Напрасно я впутал тебя в такую историю. Но я думал, это все одни разговоры. Теперь-то и я вижу, что нет.

– Джим, а вдруг это был человек? – спросил я; на свежем воздухе, услышав лай собак на окрестных фермах, я немножко пришел в себя.

– Это был дух, Родди.

– Откуда ты знаешь?

– Я шел за ним по пятам – и он ушел в стену, точно угорь в песок. Родди, ты что, что с тобой?

Все мои страхи снова вернулись, и меня опять стала бить дрожь.

– Уведи меня отсюда, Джим! Уведи меня! – закричал я. А сам не мог отвести глаз от дубовой аллеи. Джим посмотрел туда же. В темноте кто-то шел под дубами прямо к нам.

– Тише, Родди! – прошептал Джим. – Клянусь богом, будь что будет, но теперь уж я его поймаю.

Мы замерли, неподвижные, точно стволы деревьев позади нас. Кто-то тяжело ступал по песку, и из тьмы на нас надвинулась коренастая фигура.

Джим ринулся на нее, как тигр.

– Уж ты-то, во всяком случае, не дух! – воскликнул он.

Человек удивленно вскрикнул, потом яростно взревел:

– Что за черт! Пусти, не то я сверну тебе шею.

Сама по себе эта угроза не подействовала бы на Джима, если бы не знакомый голос.

– Дядя! – воскликнул он.

– Да это же Джим, черт меня подери! А еще кто? Провалиться мне на этом месте, да это же Родни Стоун! Какая нелегкая занесла вас сюда в такой час?

Мы вышли на освещенное луной место – перед нами стоял Чемпион Гаррисон собственной персоной, на плече большой узел, а лицо такое удивленное, что, не будь я до смерти напуган, я бы непременно улыбнулся.

– Мы исследуем, что тут скрывается, – ответил Джим.

– Исследуете, вон что? Да, капитана Кука из вас не выйдет, ни из одного, ни из другого, уж больно вы оба позеленели. Что с тобой, Джим, чего ты испугался?

– Я не испугался, дядя. Я ничего не боюсь, просто мне раньше не приходилось встречаться с духами, и...

– С духами?

– Я был в доме, и мы видели привидение.

Чемпион присвистнул.

– Так вот что вам тут понадобилось! – сказал он. – Ну как, перемолвились вы с ним словечком?

– Оно исчезло.

Чемпион снова присвистнул.

– Слышал я, что здесь водится какая-то нечисть, – сказал он, – но мой вам совет: держитесь от всего этого подальше. С людьми и на этом свете хлопот не оберешься, Джим, и нечего из кожи вон лезть, чтобы повстречаться еще и с выходцами с того света. Ну, а на Родни Стоуне совсем лица нет. Если б матушка увидела его сейчас, она бы уж больше никогда не пустила его в кухню. Идите потихоньку, я вас догоню и провожу домой.

Мы прошли с полмили, когда Гаррисон нагнал нас, я заметил, что узла у него на плече уже не было.

Когда мы подошли почти к самой кузнице, Джим задал вопрос, который все время вертелся у меня на языке:

– А вы-то зачем ходили в замок, дядя?

– С годами у человека появляются обязанности, о которых несмышлениши вроде вас и понятия не имеют, – сказал он. – Когда вам будет под сорок, вы, может, и сами это поймете.

Больше нам ничего не удалось из него вытянуть; но хоть я был в ту пору еще совсем мальчишка, я слышал разговоры про контрабандистов и про тюки, которые они ночью прячут в укромных местечках, так что с той ночи, стоило мне узнать, что береговая охрана поймала очередную жертву, я не успокаивался, пока не видел в дверях кузницы веселую физиономию Чемпиона Гаррисона.

## Глава 3

### Актерка из Энсти-Кросса

Я рассказал вам кое-что про Монахов Дуб и про то, как мы там жили. Теперь, когда память возвратила меня в старые места, я с радостью задержусь там, ибо каждая нить из клубка прошлого тянет за собою другие нити. Когда я взялся за перо, меня одолевали сомнения, я не знал, достанет ли мне событий на целую книгу, но теперь вижу, что вполне мог бы написать книгу об одном только Монаховом Дубе и о людях моего детства. Кое-кто из них был, без сомнения, суров и неотесан, но сквозь золотистую дымку времени все они кажутся мне милыми и славными. Вот наш добрый священник, мистер Джефферсон, он любил весь мир, кроме одного только мистера Слэка, баптистского проповедника в Клейтоне; или добросердечный мистер Слэк – для него все люди были братья, кроме мистера Джефферсона, священника из Монахова Дуба. А вот мсье Рюдэн, французский роялист, эмигрант, живший на Пэнгдинской дороге. Когда он узнал о поражении Буонапарте, с ним сделались судороги от счастья, а потом его сотрясла ярость – потому что это ведь было и поражение Франции; так что после битвы на Ниле он рыдал от восторга, а на другой день – от бешенства, то хлопая в ладоши, то топая ногами. Помню, какой он был худой, и как прямо держался, и как изящно помахивал тросточкой; его не могли сломить ни холод, ни голод, хотя и того и другого на его долю приходилось в избытке. Он был горд и обращался с людьми с такою важностью, что никто не осмеливался предложить ему еду или одежду. Помню, какие красные пятна выступили на его худых скулах, когда мясник преподнес ему говяжьих ребра. Он не мог от них отказаться, но, выходя из лавки с высоко поднятой головой, он через плечо метнул в мясника гордый взгляд и сказал:

– У меня есть собака, сударь!

Однако всю следующую неделю сытый вид был у самого мсье Рюдэна, а не у его собаки.

Помню еще фермера Пейтерсона, теперь бы его назвали радикалом, а в ту пору как только его не обзывали – и прихвостнем Пристли <sup>1</sup>, и прихвостнем Фокса <sup>2</sup>, а чаще всего изменником. Тогда мне и в самом деле казалось, что только очень дурной человек может хмуриться, услышав о победе англичан; и мы с Джимом не стояли в стороне, когда у ворот фермы Пейтерсона сжигали соломенное чучело, изображавшее его самого. Но нам пришлось признаться, что он, может, и изменник, а все равно смельчак – как всегда, в коричневом сюртуке и в башмаках с пряжками, он большими шагами вышел из дому, прямо к нам, и отблески пламени плясали на его суровом лице школьного учителя. Ох, и задал же он нам головомойку, и как же мы были счастливы, когда наконец удалось потихоньку ускользнуть оттуда.

– Вы напичканы ложью! – сказал он. – Вы и вам подобные уже чуть не две тысячи лет проповедуете мир и только и делаете, что уничтожаете друг друга. Если бы все деньги, которые пошли на уничтожение французов, были потрачены на спасение англичан, вот тогда в самом деле стоило бы зажечь в окнах благодарственные свечи. Кто вы такие, как вы смели ворваться сюда и оскорбить человека, послушного закону?

– Мы народ Англии! – выкрикнул юный Овингтон, сын сквайратора.

– Это вы-то?! Да вы только и знаете, что скачки да петушинные бои, а что такое справедливость, об этом вы понятия не имеете! И вы осмеливаетесь говорить от имени народа Англии? Народ – это глубокий, могучий, безмолвный поток, а вы пена, пузыри, жалкая, бесполезная пена, которая плавает на поверхности.

---

<sup>1</sup> Пристли Джозеф (1733—1804) – английский священник, отстаивавший веротерпимость.

<sup>2</sup> Фокс, Чарльз (1749—1806) – английский государственный деятель, сторонник мира с Францией.

Тогда он казался нам очень скверным человеком, но сейчас, оглядываясь назад, я склонен думать, что и мы, пожалуй, были не лучше.

А еще у нас были контрабандисты! Даунс кишел ими; ведь законная торговля между Францией и Англией была запрещена, и все шло теперь по этому каналу. Однажды вечером я лежал в темноте на общественном выгоне среди орляка, и мимо меня бесшумно, точно форель в ручье, проскользнуло мулов семьдесят, и каждого вел человек. Каждый контрабандист к тому же нес по крайней мере два бочонка настоящего французского коньяка, либо тюк лионского шелку, либо валансьенских кружев. Я знал Дэна Скейла, вожака контрабандистов, и Тома Хислопа, офицера береговой охраны, и помню, как однажды вечером они встретились.

– Будешь драться, Дэн? – спросил Том.

– Да, Том, так просто не сдамся.

И тогда Том вынул пистолет и выстрелил Дэну в голову.

– Не хотелось мне его убивать, – рассказывал он потом, – но я знал: мне с ним не справиться, нам ведь уже приходилось встречаться.

И Том сам заплатил какому-то стихотворцу из Брайтона, чтобы тот сочинил эпитафию, и стихи эти всем нам казались очень искренними и хорошими. Они начинались так:

Увы! Не медлит пуля роковая,  
Летит, чело младое пробивая, —  
И пал он, вздох последний испустил,  
Навеки очи томные смежил...

Там были и другие строчки, наверно, эпитафию еще и сегодня можно отыскать на Пэт-чемском кладбище.

Однажды, вскоре после нашего похода в замок, я сидел дома, разглядывал всякие диковинки, которые отец развесил по стенам, и, как все ленивые мальчишки, от души жалел, что мистер Лилли не умер до того, как написал латинскую грамматику; матушка вязала что-то, сидя у окна, и вдруг удивленно вскрикнула:

– Боже милостивый! Какая вульгарная особа!

Матушка так редко говорила о ком-нибудь плохо (кроме генерала Буонапарте), что я вскочил и кинулся к окну. По улице медленно двигалась коляска, запряженная малорослой лошадкой, и в ней сидела чудная-пречудная дама. Сама толстая, поперек себя шире, а лицо такое красное, что багровые щеки и нос даже отсвечивали лиловым. На голове большущая шляпа с изогнутым белым страусовым пером, а из-под полей глядят дерзкие черные глаза. Глядят так гневно, с вызовом, точно она говорит каждому встречному: можете думать обо мне, что хотите, но уж я-то вас ни в грош не ставлю. На плечи у нее было накинуто что-то вроде пунцово-мантильи, отделанной у шеи белым лебяжьим пухом, вожжи совсем провисли, а лошадь шла то по одной стороне дороги, то по другой – как вздумается. Коляска покачивалась, и голова в большущей шляпе тоже покачивалась в такт, и нам видно было то донце, то поля.

– Какой ужас! – воскликнула матушка.

– А что с ней?

– Да простит меня бог, если я ошибаюсь, но, по-моему, она пьяна, Родди.

– Смотрите-ка, – закричал я, – она остановилась у кузницы! Сейчас я все узнаю. – И, схватив шапку, я стремглав кинулся вон из дому.

В дверях кузницы Чемпион Гаррисон подковывал лошадь, и когда я выскочил на улицу, он стоял на коленях, копыто было зажато у него под мышкой, а в руке он держал рашпиль. Женщина в коляске манила его пальцем, он уставился на нее, и лицо у него было какое-то странное. Наконец он бросил рашпиль, подошел к ней, остановился у колеса и, покачивая голо-

вой, стал что-то ей говорить. А я проскользнул в кузницу, где Джим доделывал подкову, и стал смотреть, как он споро работает, как ловко загибает заклепки. Он все сделал, вынес подкову, а чудная женщина все разговаривала с его дядей.

– Это он? – донесся до меня ее вопрос.

Чемпион Гаррисон кивнул.

Она подняла на Джима глаза – в жизни я не видал у человека таких больших, таких черных удивительных глаз. И хоть я был совсем мальчишка, я понял, что это обрюзгшее лицо было когда-то очень красивым. Она протянула руку (пальцы у нее шевелились, словно она играла на клавикордах) и тронула Джима за плечо.

– Надеюсь... надеюсь, ты здоров, – запинаясь, произнесла она.

– Совершенно здоров, сударыня, – ответил Джим, переводя взгляд с нее на дядю.

– И ты всем доволен?

– Да, сударыня, благодарю вас.

– И нет ничего такого, чего бы тебе очень хотелось?

– Да нет, сударыня, у меня все есть.

– Ну, иди, Джим, – строго сказал дядя. – Раздуй горн, эту подкову надо перековать.

Но женщина, видно, хотела еще поговорить с Джимом и рассердилась, что его отослали. Глаза ее сверкнули, она вскинула голову, а кузнец, казалось, пытался ее успокоить. Они долго шепотом переговаривались, и под конец она как будто утихомирилась.

– Так, значит, завтра? – громко спросила она.

– Завтра, – ответил он.

– Вы сдержите свое слово, а я сдержу свое, – сказала она и тронула кнутом лошадку.

И пока она не превратилась в красную точку далеко на белой дороге, кузнец все стоял с рашпилем в руках и смотрел ей вслед. Потом он обернулся, а лицо у него было печальное-печальное, никогда еще я его таким не видел.

– Джим, – сказал он, – это мисс Хинтон, она будет жить в «Кленах», возле Энсти-Кросса. Ты ей понравился, Джим, может, она тебе кой в чем поможет. Я ей пообещал, что завтра ты к ней сходишь.

– Не нужна мне ее помощь, дядя, и неохота мне ее видеть.

– Но ведь я пообещал, Джим! Ты не захочешь, чтоб я перед ней оказался вралею. Ей бы только поговорить с тобой – ведь она совсем одна живет, скучно ей.

– Да о чем ей со мной говорить?

– Ну, кто ее знает, а ей, видать, очень хочется, ведь женщине чего только не взбредет на ум. Вот уж Родни Стоун, верно, не отказался бы навестить добрую леди, ежели б думал, что станет от этого богаче.

– Ладно, дядя, если Родди пойдет со мной, я, пожалуй, схожу, – сказал Джим.

– Конечно, пойдет! Пойдете, Родни?

Одним словом, я согласился и понес все эти новости домой, моей матушке, – она была охотница до всяких безобидных сплетен. Услыхав, куда я собираюсь идти, она покачала головой, но запрещать не стала, так что все уладилось.

До Энсти-Кросса было добрых четыре мили, но домик оказался премилый: уютный, весь в жимолости и диком винограде, крыльцо деревянное, на окнах частый переплет. Дверь нам открыла какая-то женщина, по виду служанка.

– Мисс Хинтон не может вас принять, – заявила она.

– Она сама нас позвала, – возразил Джим.

– А я-то тут при чем? – грубо ответила женщина. – Говорю вам, не может она вас принять.

Мы постояли в нерешительности.

– Вы ей все-таки скажите, что я здесь, – вымолвил наконец Джим.

– Скажите! Да как я ей скажу, когда ее и пушками теперь не разбудишь? Подите сами попробуйте, коли охота.

Она распахнула дверь, и в глубине комнаты, в большом кресле, мы увидели бесформенную фигуру и свесившиеся черные космы. И в уши нам ударил ужасающий храп, точно хрюкало стадо свиней. Мы только взглянули на нее и тут же выскочили за дверь и кинулись домой. Что до меня, я был еще совсем мальчишка и не понимал, смешно это или страшно; но Джим очень побледнел и расстроился.

– Никому ни слова, Родди, – сказал он.

– Только матушке.

– А я не хочу даже дяде говорить. Скажу, что она захворала, бедняжка. Довольно и того, что мы видели ее позор, не хватает еще, чтобы вся округа стала про нее сплетничать. Как подумаю, тошно становится и сердце щемит.

– Она и вчера была такая, Джим.

– Разве? А я и не заметил. Знаю только, что глаза у нее добрые и сердце тоже, я это сразу увидал, когда она на меня поглядела. Может, она дошла до такого потому, что у ней нет друга.

Несколько дней он ходил как в воду опущенный. А я скоро совсем бы все это забыл, если бы не его несчастное лицо. Но это была не последняя наша встреча с женщиной в пунцовой мантилье; не прошло и недели, как Джим снова попросил меня пойти с ним в Энсти-Кросс.

– Она прислала дяде письмо, – сказал он. – Она хочет со мной поговорить, а мне легче, если ты тоже там будешь, Родди.

Я только обрадовался прогулке, но когда мы стали подходить к ее дому, Джим забеспокоился – боялся, как бы опять не вышло чего худого. Но страхи его скоро прошли, потому что, едва мы стукнули калиткой, она тут же выскочила из домика и побежала нам навстречу. Вид у нее был такой чудной – на плечах какая-то фиолетовая накидка, а лицо большое, красное и улыбается; будь я один, я б, наверно, пустился наутек. Джим и тот приостановился, словно не знал, как быть, но она встретила нас так сердечно, что мы скоро совсем освоились.

– Вы молодцы, что навестили старую одинокую женщину, – сказала она. – И мне надо перед вами извиниться, что во вторник вы зря потратили время, но отчасти вы сами тому виной: я подумала, что вы придете, и разволновалась, а стоит мне разволноваться, и у меня начинается нервная лихорадка. Бедные мои нервы! Вот смотрите, какие они у меня!

Она протянула вперед руки, пальцы все время подергивались. Потом взяла Джима под руку и пошла с ним по дорожке.

– Я хочу тебя узнать, узнать хорошенько, – сказала она. – С твоими дядей и тетей мы старые знакомые, и, хотя ты меня, конечно, не помнишь, я не раз держала тебя на руках, когда ты был еще младенцем. Скажи мне, дружок, – обернулась она ко мне, – как ты называешь своего приятеля?

– Малыш Джим, сударыня, – ответил я.

– Тогда я тоже буду звать тебя Малыш Джим, если ты не против. У нас, у людей пожилых, есть свои преимущества. А теперь пойдемте в комнаты и будем все вместе пить чай.

Она ввела нас в уютную комнатку, ту самую, куда мы заглянули в прошлый раз, и там посередине стоял стол, накрытый белой скатертью, и на нем сверкало стекло, мерцал фарфор, на блюде громоздились краснощекие яблоки, а хмурая служанка только что внесла полную тарелку горячих сдобных булочек. Вы и сами понимаете, что мы отдали дань всему угощению, а мисс Хинтон то и дело подливала нам чаю и подкладывала на тарелки то того, то другого. Дважды она вставала из-за стола и шла к буфету в дальнем углу комнаты, и оба раза Джим мрачнел, ибо мы слышали, как стекло тихонько позвякивало о стекло.

– Послушай, дружок, – обратилась она ко мне, когда мы допили чай. – Отчего это ты все озираешься?

– Очень у вас красивые картины развешаны по стенам.

– А какая тебе нравится больше всех?

– Вот эта! – Я показал на картину, висевшую прямо передо мной. На ней была изображена высокая стройная девушка; щеки у нее были такие румяные, глаза такие нежные, и так она красиво была одета, что я в жизни не видел ничего прекраснее. В руке она держала букет цветов, а другой букет лежал у ее ног на деревянных мостках.

– Значит, эта лучше всех, да? – смеясь, переспросила она. – Что ж, подойди поближе и прочти вслух, что под ней написано.

Я подошел и прочитал:

– «Мисс Полли Хинтон в роли Пегги в день своего бенефиса в театре Хеймаркет, 14 сентября, 1782 г.».

– Так это актерка, – сказал я.

– Ах ты, негодник! Ты это сказал так, будто актерка хуже других людей. А ведь совсем недавно герцог Кларенс, который в один прекрасный день может стать английским королем, женился на миссис Джордан, на актерке. А кто, по-вашему, изображен на этом портрете?

Она стояла прямо под картиной, скрестив руки на груди, и переводила взгляд своих огромных черных глаз с меня на Джима.

– Да где ваши глаза? – воскликнула она наконец. – Это я и есть мисс Полли Хинтон из театра Хеймаркет. Неужто вы никогда не слышали этого имени?

Пришлось нам признаться, что не слышали. Мы ведь выросли в провинции, и одного слова «актерка» было достаточно, чтобы привести нас в ужас. Для нас это было особое племя – о нем не принято говорить вслух, и над ним, точно грозовая туча, навис гнев небес. И сейчас, видя, какой была и какой стала эта женщина, мы воочию убедились, как господь карает неугодных ему.

– Ладно, – сказала она, обиженно засмеявшись. – Можете ничего не говорить, и так вижу по вашим лицам, что вас учили обо мне думать. Так вот какое воспитание ты получил, Джим, – тебя учили считать дурным то, чего ты не понимаешь! Хотела бы я, чтобы в тот вечер ты был в театре; в ложах сидели принц Флоризель и четыре герцога – его братья, а все остроумцы и франты, весь партер стоя аплодировал мне. Если бы лорд Эйвон не посадил меня в свою карету, мне бы нипочем не довезти все цветы до моей квартиры на Йорк-стрит в Вестминстере. А теперь двое неотесанных мальчишек смотрят на меня свысока!

Кровь бросилась Джиму в лицо, он был уязвлен: его называли неотесанным мальчишкой, намекнули, будто ему далеко до лондонской знати.

– Я ни разу не был в театре, – сказал он, – и ничего про них не знаю.

– И я тоже.

– Ладно, – сказала она, – я сегодня не в голосе, и вообще глупо играть в маленькой комнате да всего перед двумя зрителями, но все равно: представьте, что я перуанская королева и призываю своих соотечественников подняться против испанцев, которые их угнетают.

И тут, прямо у нас на глазах, эта неряшливая, распухшая женщина превратилась в королеву – самую величественную, самую надменную королеву на свете; она заговорила пылко и горячо, глаза ее метали молнии, и она так взмахивала белой рукой, что мы сидели как зачарованные. Поначалу голос ее звучал мягко и нежно, она словно убеждала нас в чем-то, потом она заговорила о несправедливостях и свободе, о радости умереть за благородное дело, и он зазвенел громче, громче и, наконец, проник в самое мое сердце, и я уже хотел лишь одного – бежать отсюда, чтобы сейчас же умереть за отечество. И вдруг в одно мгновение все переменялось. Перед нами была несчастная женщина, которая потеряла свое единственное дитя и теперь оплакивает его. В голосе ее слышались слезы, она говорила так искренне, так безыскусственно, что нам обоим казалось, будто мы видим тут, на ковре, перед собой мертвого ребенка, и сердца наши исполнились жалости и печали. Но не успели у нас на глазах высохнуть слезы, как она уже снова стала сама собой.

– Ну что, нравится? – спросила она. – Вот как я играла тогда, и Салли Сиддонс зеленела от злости при одном имени Полли Хинтон. «Пизарро» – хорошая пьеса.

– А кто ее написал, сударыня?

– Кто написал? Понятия не имею. Не все ли равно! Но для хорошей актрисы в этой пьесе есть великолепные строки.

– И вы больше не выступаете, сударыня?

– Нет, Джим, я бросила сцену, когда... когда она мне надоела. Но временами меня снова тянет на подмостки. Что может быть прекраснее запаха горящего масла в светильниках рампы и запаха апельсинов, доносящегося из партера! Но ты что-то совсем загрустил, Джим.

– Просто я все думаю про эту несчастную женщину и ее дитя.

– Полно, не надо! Сейчас я помогу тебе выкинуть ее из головы. Вот озорница Присцилла из «Егозы». Представьте себе, что мать выговаривает дерзкой девчонке, а эта маленькая нахалка ей отвечает.

И она начала играть за обеих, столь точно изображая голос и повадки одной и другой, что нам казалось, будто перед нами в самом деле они обе; строгая старуха мать, которая приставляет к уху ладонь, точно слуховую трубку, и ее непоседа дочь. Несмотря на толщину, мисс Хинтон двигалась поразительно легко и, дерзко отвечая старой, согнутой в три погибели матери, совсем по-девичьи вскидывала голову и надувала губы. Мы с Джимом забыли про наши печали и покатывались со смеху.

– Вот так-то лучше, – сказала она, с улыбкой глядя на нас. – Мне не хотелось, чтобы вы пришли домой унылые, а не то вас, пожалуй, в другой раз ко мне и не пустят.

Она сунулась в буфет, достала оттуда бутылку, стакан и поставила их на стол.

– Вы еще слишком молоды, чтобы пить молочко бешеной коровки, – сказала она, – но от этих представлений пересыхает в горле, так что...

И тут произошло нечто поразительное. Джим встал со стула и прикрыл бутылку рукой.

– Не надо! – сказал он.

Она взглянула ему прямо в лицо, и я никогда не забуду, как под его взглядом смягчился взгляд ее черных глаз.

– Ни капельки?

– Пожалуйста, не надо.

Она быстро выхватила у него бутылку и подняла так высоко, что на мгновение я подумал, будто она хочет выпить ее залпом. Но она швырнула бутылку в растворенное окно, и мы слышали, как она упала на дорожку и разлетелась вдребезги.

– Ну вот! – сказала она. – Ты доволен, Джим? Давно уже никому не было дела, пью я или нет.

– Вы для этого слишком хорошая, слишком добрая, – сказал он.

– Хорошая! – воскликнула она. – Что ж, мне нравится, что ты так обо мне думаешь. И ты будешь рад, если я постараюсь не пить? Да, Джим? Что ж, раз так, я дам тебе обещание, если ты мне тоже кое-что пообещаешь.

– Что, сударыня?

– Поклянись, что будешь приходить ко мне два раза в неделю в дождь и ведро, снег и в ветер, чтобы я могла видеть тебя и разговаривать с тобой, – и я не возьму в рот ни капли. Ведь мне временами и в самом деле бывает очень одиноко.

Джим пообещал – и свято держал слово: не раз я, бывало, звал его удить рыбу или ставить силки на кроликов, но он вдруг вспоминал, что сегодня должен быть у мисс Хинтон, и отправлялся в Энсти-Кросс. Поначалу ей, видно, трудно было удержаться, и Джим часто возвращался от нее чернее тучи, – наверно, все шло не совсем так, как ему хотелось. Но со временем бой был выигран, как выигрывают все бои, когда воюешь достаточно упорно, и уже за год до возвращения моего отца мисс Хинтон сделалась другим человеком. И не только ее привычки изме-

нились, она и внешне стала совсем другая: из нелепой особы, которую я описал вначале, она за этот год превратилась в самую красивую женщину во всей нашей округе. Джим гордился этим делом рук своих больше всего на свете, но делился своей радостью только со мной, ибо испытывал к мисс Хинтон нежность, какую всегда испытываешь к человеку, которому помог. И она, в свою очередь, тоже помогла ему: она рассказывала ему о разных местах, обо всем, что повидала на своем веку, и тем самым отвлекла его мысли от Суссекса, подготовила его к жизни в том широком мире, который расстилался за пределами вашего селения. Так обстояли дела к тому времени, когда был заключен мир и отец мой вернулся домой.

## Глава 4

### Амьенский мир

Сколько женщин вознесли хвалу небесам, сколько женских сердец преисполнились счастьем и благодарности, когда осенью 1801 года стало известно, что переговоры о мире закончены! Англия изливала свою радость в пляшущих на ветру флагах, в мерцающих в ночи огнях. Даже в Монаховом Дубе мы вывесили флаги и в каждом окне выставили свечу, а над дверью гостиницы пылали на ветру две огромные буквы «G. R.»<sup>3</sup>. Люди устали от войны – ведь мы воевали уже восемь лет, то с Голландией, то с Испанией, то с Францией, то со всеми вместе. И за все эти годы мы узнали только одно: что наша небольшая сухопутная армия не может справиться с французами на суше, зато французам вовек не справиться с нашим большим флотом на море. Мы вновь обрели кое-какое уважение к себе, а это было особенно важно после того, что произошло в Америке; и у нас прибавилось колоний, которые по той же причине оказались нам очень кстати; но наш государственный долг продолжал расти, а консоли – падать, и в конце концов даже Питт ужаснулся. Однако, знай мы тогда, что между Наполеоном и нами мира не бывает и что это лишь конец одного раунда, а вовсе не всего матча, было бы куда разумнее не делать этого перерыва, а сражаться до конца. Теперь же Франция получила назад двадцать тысяч своих отборных моряков, и они задали нам жару этим своим Булонским лагерем и десантным флотом прежде, чем нам удалось снова взять их в плен.

Батюшка мой был человек плотный, сильный, хоть и небольшого роста, не очень широкоплечий, но сложен крепко и ладно. Лицо его, красное от загара, блестело, и, хотя в ту пору ему было лишь сорок лет, оно все было иссечено морщинами, которые при малейшем волнении обозначались резче, так что он в один миг превращался из молодежавого человека чуть ли не в старика. Особенно много морщинок было у глаз, да это и понятно: ведь он всю жизнь щурился из-за ветра и непогоды. Глаза у него были удивительные – ясные, очень голубые и на обветренном докрасна лице казались особенно яркими. От природы кожа у него была, вероятно, белая, ибо верхняя часть лба, обычно закрытая шляпой, была совсем такая же, как у меня, а коротко подстриженные волосы – рыжевато-каштановые.

Он с гордостью говорил, что служил на корабле, который последним покинул воды Средиземного моря в девяносто седьмом году и первым вошел в них в девяносто восьмом. Когда наш флот, точно свора гончих, ринулся из Сицилии в Сирию и обратно в Неаполь, пытаясь найти потерянный след, мой отец служил третьим помощником на «Тезее», которым командовал Миллер. Вместе с тем же боевым капитаном он сражался на Ниле, и там его команда стреляла, таранила, дралась до тех пор, пока не опустился последний трехцветный флаг, и тогда они подняли запасный якорь и прямо у кабестана повалились друг на друга и заснули мертвым сном. Потом уже вторым помощником на одном из тех грозных трехпалубников с почерневшими от пороха бортами и красными полосами под шпигатами, чьи рассевишиеся корпуса рассыпались только потому, что были стянуты канатами, он вернулся в Неаполитанский залив и принес туда весть о победе на Ниле. Оттуда, в награду за верную службу, его перевели первым помощником на фрегат «Аврора», который блокировал Геную, и на этом корабле он служил до тех пор, пока наконец не был заключен мир.

Как хорошо я помню его возвращение домой! С тех пор прошло уже сорок восемь лет, но я вижу это яснее, чем события прошлой недели, – ведь память старика подобна подзорной трубе, которая отлично показывает все, что находится далеко, и затуманивает все, что вблизи.

---

<sup>3</sup> Король Георг (*лат.*).

С той минуты, как до нас докатился слух о переговорах, моя матушка была словно в лихорадке, так как понимала, что отец может явиться одновременно с письмом, извещающим о его приезде. Она говорила мало, но омрачала мою жизнь, требуя, чтобы я весь день ходил чистый и аккуратный. Стоило ей услышать стук колес на дороге, и взгляд ее тут же устремлялся на дверь, а руки сами собой начинали приглаживать красивые черные волосы. Она вышила белыми нитками по синему полю «Добро пожаловать», а по обеим сторонам красные якоря и окружила все это каймой из лавровых листьев; она хотела повесить эту ленту между двумя кустами сирени, что росли по обеим сторонам нашей двери. Лента была готова еще до того, как батюшка мог отплыть из Средиземного моря, и каждое утро, проснувшись, матушка первым делом смотрела, на месте ли лента и можно ли ее тотчас вывесить меж кустами.

Однако до подписания мира прошло еще много томительных месяцев, и для нашего семейства великий день наступил лишь в апреле следующего года. Помнится, все утро шел теплый весенний дождь, остро пахло землей, капли мягко стучали по набухавшим почкам каштанов позади нашего домика. К вечеру проглянуло солнце, я взял удочку и вышел из дому (я пообещал Джиму пойти с ним на мельничную запруду), и что же, вы думаете, я увидел? У наших ворот стоял экипаж, запряженный двумя лошадьми, от которых шел пар, и в открытых дверцах кареты виднелись черная юбка и маленькие ножки моей матушки, а вместо кушака ее обхватили две руки в синем, и больше ничего было не видать. Я кинулся за лентой, прицепил ее к кустам, как было условлено, но когда кончил, снова увидел лишь юбку, ножки и две руки в синем, – все как было.

Наконец матушка спрыгнула на землю.

– Это Род, – сказала она, – Родди, милый, вот твой отец!

Я увидел красное лицо, на меня глядели добрые ярко-голубые глаза.

– Родди, мальчик мой, ты был совсем дитя, когда я в последний раз поцеловал тебя на прощание, а теперь тебя надо числить уже по другому разряду. Я от души рад видеть тебя, мой мальчик, а тебя, милая...

Руки в синем поднялись, и в дверцах уже опять были видны лишь ножки да юбка.

– Кто-то идет, Энсон, – покраснев, сказала матушка. – Может, ты выйдешь и пойдем все в дом?

И тут мы заметили, что хоть лицо у него веселое, но правая нога как-то неестественно вытянута и неподвижна.

– Ах, Энсон, Энсон! – вскричала матушка.

– Тише, тише, милая, это всего лишь кость, – сказал он и обеими руками приподнял колено. – Сломал в Бискайском заливе, но корабельный врач выудил оба конца и соединил, только они еще не совсем срослись. Господи боже мой, да что ж ты так побелела? Это пустяки, сейчас сама увидишь.

Он соскочил с подножки и, опираясь на палку, быстро поскакал на одной ноге по дорожке, нырнул под вышитую лавровыми листьями ленту и впервые за пять лет переступил порог собственного дома. Когда мы с кучером внесли его матросский сундучок и два дорожных мешка, он в старом, выдавшем виды мундире сидел в своем кресле у окна. Матушка плакала, глядя на его ногу, а он загорелой, коричневой рукой гладил ее по волосам. Другой рукой он обхватил меня и притянул к своему креслу.

– Ну вот, мир заключен, теперь я могу лежать и поправляться, пока снова не потребуюсь королю Георгу, – сказал он. – Это было в Бискайском заливе, дул брамсельный ветер, шла бортовая волна, и карронада сорвалась. Стали мы ее закреплять, она и прижала меня к мачте. Да, – прибавил он, оглядывая комнату, – все мои диковинки на своих местах: рог нарвала из Арктики, и рыба-пузырь с Молуккских островов, и гребки с острова Фиджи, и картина – «Са

iga?»<sup>4</sup>, а за ним гонится эскадра лорда Хотема. И рядом ты, Мэри, и ты тоже, Родди, и дай бог здоровья карронаде, которая привела меня в такую уютную гавань и из-за которой мне сейчас не грозит приказ сниматься с якоря.

Его длинная трубка, табак – все было у матушки наготове; он закурил и все переводил взгляд с матушки на меня и с меня опять на нее, словно никак не мог на нас наглядеться. Хотя я был еще совсем мальчишка, но и тогда я понимал, что об этой минуте он часто мечтал, стоя в одиночестве на вахте, и что при мысли о ней у него становилось веселее на душе в самые тяжкие часы. Иногда он дотрагивался рукой до матушки, иногда до меня; так он сидел, и сердце его было переполнено, и словам не было места; а в комнате сгушались тени, и во тьме мерцали освещенные окна гостиницы. Потом матушка зажгла лампу и вдруг опустилась на колени, и батюшка тоже опустился на одно колено, и вот так, стоя рядом, они вознесли хвалу господу за его многие милости. Когда я вспоминаю своих родителей той поры, яснее всего я вижу их именно в эту минуту: нежное лицо матушки со следами слез на щеках и голубые глаза батюшки, обращенные к потемневшему потолку. Помню, углубившись в молитву, он покачивал дымящейся трубкой, и, глядя на него, я невольно улыбался сквозь слезы.

– Родди, мальчик мой, – заговорил он, когда мы отужинали, – ты уже становишься мужчиной и, надеюсь, как и все мы, пойдешь служить во флот. Ты уже подросток, настало время и тебе пристегнуть к поясу кортик.

– И оставить меня не только без мужа, но и без сына! – воскликнула матушка.

– Ну, у нас еще есть время, – сказал батюшка. – Сейчас, когда подписан мир, они предпочитают увольнять в отставку, а не набирать пополнение. Но я ведь совсем не знаю, какой вышел толк из твоего учения, Родди. Ты учился куда больше моего, а все же я, наверно, сумею тебя проверить. Историю ты изучал?

– Да, батюшка, – довольно уверенно ответил я.

– Тогда скажи: сколько линейных кораблей участвовало в Кампердаунской битве?

Я не знал, что отвечать, и он огорченно покачал головой.

– Что же это ты, во флоте есть люди, которые вовсе не ходили в школу, а сразу скажут, что у нас было семь семидесятичетырехпушечных кораблей, семь шестидесятичетырехпушечных и два пятидесятипушечных. Вон висит картина – погоня за «За ига». Какие суда взяли его на абордаж?

И опять я должен был признаться, что не знаю.

– Что ж, отец еще может поучить тебя кое-чему! – воскликнул он, торжествующе глядя на матушку. – А географию ты изучал?

– Да, батюшка, – ответил я уже без прежней уверенности.

– Так сколько миль от Маона до Альхесираса?

Я только головой покачал.

– Если Уэссан лежит от тебя в трех лигах по правому борту, какой английский порт к тебе ближе всего?

И этого я не знал.

– Да, – сказал он, – видно, в географии ты так же силен, как в истории. Эдак тебе нипочем не получить офицерского свидетельства. А считать ты умеешь? Ну ладно, поглядим, сумеешь ли ты хоть подсчитать мои призовые.

Он бросил лукавый взгляд на матушку, она положила вязанье на колени и серьезно взглянула на него.

– Ты меня даже не спросила про призовые, Мэри, – сказал он.

– Средиземное море для них не место, Энсон. Ты ведь сам говорил, за призовыми надо плыть в Атлантику, а в Средиземное море – за славой.

---

<sup>4</sup> «Ça ira» («Пойдет!») (*франц.*) – песня времен французской революции 1789—1794 гг. Здесь – название корабля.

– Последнее плавание принесло мне и то и другое, потому что я сменил линейный корабль на фрегат. Ну-ка, Родди, мне полагается два фунта с каждой сотни фунтов, после того как призовой суд закончит свою работу. Когда мы сторожили у Генуи Массену, мы задержали семьдесят шхун, бригов и одномачтовых шхун с вином, продовольствием и порохом. Лорд Кейт, конечно, захочет получить кусок пожирнее, но это уж дело призового суда. Будем считать, что на мою долю придется по четыре фунта, что же я тогда получу с семидесяти?

– Двести восемьдесят фунтов, – ответил я.

– Да это ж целое богатство, Энсон! – воскликнула матушка и захлопала в ладоши.

– Испытание продолжается, Родди! – провозгласил батюшка, взмахнув трубкой. – Мы задержали барселонский фрегат «Хебек»; у него на борту было двадцать тысяч испанских долларов, то есть четыре тысячи фунтов стерлингов. Сам корабль стоит еще тысячу фунтов. Какова моя доля?

– Сто фунтов.

– Ого, сам корабельный эконом не сосчитал бы быстрее! – радостно воскликнул батюшка. – Считай дальше! Мы прошли Гибралтарский пролив и направились к Азорам, там мы встретились с «Сабинной» – она шла с острова Маврикия с грузом сахара и пряностей. Мне она даст не меньше тысячи двухсот фунтов, Мэри, и теперь тебе уже не надо будет пачкать твои тоненькие пальчики, дорогая, не надо будет выгадывать каждый грош из моего нищенского жалованья.

Все эти годы матушка без единой жалобы боролась с нуждой, но сейчас, когда всему этому так неожиданно пришел конец, она с рыданиями припала к плечу батюшки. Прошло много времени, прежде чем батюшка смог продолжить экзамен по арифметике.

– Считай, что все это уже у тебя в руках, Мэри, – сказал он, проведя ладонью по глазам. – Вот, ей-богу, девочка, дай только нога заживет, и мы съездим с тобой в Брайтон, поживем там, и пусть мне больше не ступить на палубу, если ты не будешь там самая нарядная! Но почему же ты так хорошо считаешь, Родди, а историю и географию вовсе не знаешь?

Я попытался объяснить ему, что на суше и на море арифметика одна и та же, а история и география разные.

– Ладно, – заключил он, – чтобы не попасть впросак, тебе надо только уметь считать, а в остальном была бы лишь голова на плечах. В нашем роду все чувствовали себя в море как дома. Лорд Нельсон обещал мне тебя пристроить, а уж он своему слову хозяин.

Итак, мой отец вернулся домой, и он был такой хороший, такой добрый, что любой мальчишка мог бы мне позавидовать. Хотя родители мои поженились уже очень давно, они жили вместе так недолго, что походили скорее на новобрачных – любовь их не успела еще ни остыть, ни потускнеть. Позднее я убедился, что среди моряков есть люди неотесанные, любители посквернословить, но батюшка мой был не таков, и хотя ему приходилось бывать во всяких переделках, он всегда оставался терпеливым, добродушным человеком, и для всякого в нашем селении у него находились и улыбка, и веселое словцо. Он чувствовал себя хорошо в любом обществе: сживал за стаканом вина и со священником и с сэром Джеймсом Овингтоном; а мог часами сидеть и с моими скромными друзьями в кузнице – с Чемпионом Гаррисоном, с Джимом и с другими – и рассказывать им про Нельсона и его моряков, и, слушая его, Чемпион Гаррисон в волнении сжимал ручищи, а глаза Джима разгорались, точно угли в кузнечном горне.

Батюшка, как и многие другие ветераны, был уволен в запас с сохранением половины жалованья, и таким образом он почти два года прожил дома. За все это время он лишь однажды слегка поспорил с матушкой. Причиной размолвки оказался я, а так как она послужила началом немаловажных событий, я вам о ней расскажу. Это было первое в цепи событий, которые сказались не только на моей судьбе, но и на судьбе людей куда более значительных.

Весна 1803 года выдалась ранняя, и уже в середине апреля каштаны покрылись густой листвой. Однажды вечером мы сидели и пили чай; вдруг за окном послышался скрип песка, и в дверях показался почтальон с письмом в руках.

– Это, наверно, мне, – сказала матушка.

И в самом деле, письмо было адресовано миссис Мэри Стоун, Монахов Дуб, и конверт надписан весьма изящным почерком, а на обороте красовалась красная печать величиной с полкроны, и в середине ее – летящий дракон.

– Как ты думаешь, Энсон, от кого это?

– Я надеялся, что от лорда Нельсона, – ответил батюшка. – Мальчику пора бы уже получить патент. Ну, а раз письмо адресовано тебе, значит, оно не может быть от какого-нибудь важного лица.

– Вот как! – воскликнула матушка, делая вид, что обиделась. – Вам придется просить прощение за ваши слова, сэр, ибо письмо не от кого-нибудь, а от самого сэра Чарльза Треджеллиса, моего родного брата.

Имя своего замечательного брата матушка произнесла, почтительно понизив голос, и, сколько я помню, так было всегда, поэтому и я привык относиться к его имени с благоговением. И ничего удивительного: ведь имя это упоминали всякий раз лишь в связи с каким-нибудь особенным, необыкновенным событием. Однажды мы слыхали, что он был в Виндзоре у короля. Он часто бывал в Брайтоне с принцем. Случалось, до нас докатывались отголоски его славы, как, например, в случае, когда его Метеор обскакал в Ньюмаркете Игема, лошадь герцога Куинсберри, или когда он открыл в Бристоле Джема Белчера и показал его лондонским любителям бокса. Но чаще всего мы слышали о нем либо как о друге какой-нибудь знаменитости, либо как о законодателе мод, короле щеголей, человеке, который одевается лучше всех в Лондоне. Батюшка, однако, вовсе не разделял восторгов матушки.

– А-а, и что ему надо? – спросил он не слишком дружелюбно.

– Я написала ему, что Родди стал совсем взрослый; понимаешь, Энсон, ведь у него нет ни жены, ни детей – вот я и подумала, может, он захочет помочь нашему мальчику преуспеть в жизни.

– Мы можем прекрасно обойтись без него, – проворчал батюшка. – Он бросил нас в дурную погоду, а сейчас, когда светит солнце, он нам не нужен.

– Нет, ты его не знаешь, Энсон, – горячо возразила матушка. – У Чарльза на редкость доброе сердце; просто сам он живет очень благополучно и оттого не понимает, что у других могут быть какие-то затруднения. Все эти годы я отлично знала, что стоит мне только попросить – и он ни в чем мне не откажет.

– Слава богу, Мэри, что тебе ни разу не пришлось испытать такое унижение. Не нужна мне его помощь.

– Но ведь надо подумать о Родди.

– У Родди есть все, что требуется для матросского сундучка. А больше ему ничего не нужно.

– У Чарльза такие связи в Лондоне! Он мог бы познакомить Родди с самыми влиятельными людьми. Ну неужели ты станешь поперек дороги собственному сыну?

– Давай-ка сперва посмотрим, что он пишет, – сказал батюшка.

И вот что прочла ему матушка:

*«Сент-Джеймс, Джермин-стрит, 14  
15 апреля 1803 года*

Дорогая сестра Мэри!

В ответ на твое письмо заверяю тебя, что я отнюдь не лишен тех возвышенных чувств, которые составляют главное украшение человечества.

Правда, последние годы я был занят чрезвычайно важными делами и редко брал в руки перо, и за это меня упрекали многие *des plus charmants*<sup>5</sup> – представительницы твоего очаровательного пола. В настоящую минуту я лежу в постели (вчера я допоздна оставался на балу у маркизы Дуврской, так как желал оказать ей внимание), и письмо это под мою диктовку пишет мой слуга Амброз, очень ловкая бестия.

Мне любопытно было услышать о моем племяннике Родди (*mon Dieu, quel nom*<sup>6</sup>). И когда на следующей неделе я поеду в Брайтон с визитом к принцу, я сделаю остановку в Монаховом Дубе, чтобы повидать вас обоих – тебя и его. Передай поклон супругу.

Твой неизменно преданный брат,  
*Чарльз Треджеллис*».

– Ну, что ты на это скажешь? – дочитав письмо, торжествуяще воскликнула матушка.

– Скажу, что письмо писал фат, – резко ответил батюшка.

– Ты слишком строг к нему, Энсон. Вот узнаешь его поближе и станешь о нем лучшего мнения. Но он пишет, что приедет на следующей неделе. Сегодня уже четверг, а у меня еще праздничные занавески не повешены и простыни не переложены лавандой!

В растерянности матушка выбежала из комнаты, а отец, явно не в духе, остался сидеть, опершись подбородком на руки, и я уже вовсе не знал, что мне и думать о нашем знатном родиче и обо всем, что может принести нашей семье его приезд.

---

<sup>5</sup> Самые прелестные (франц.).

<sup>6</sup> Бог мой, что за имя (франц.).

## Глава 5

### Щеголь Треджеллис

Мне шел семнадцатый год, я уже начал бриться, и сельская жизнь стала меня тяготить – я жаждал повидать мир. Жажда моя была тем сильнее, что я не смел заговаривать об этом, ибо при малейшем намеке на мой отъезд в глазах у матушки появлялись слезы. Но сейчас, когда вернулся отец, мне было легче покинуть родной дом, и я нетерпеливо ожидал дядю, надеясь, что он поможет мне наконец вступить в жизнь.

Вы, наверно, и сами понимаете, что все мои помыслы и надежды были связаны с профессией моего батюшки, ибо с самого детства, стоило мне увидеть, как вздымаются волны, или почувствовать соленый привкус моря на губах, и тотчас во мне начинала играть кровь пяти поколений моряков. Только подумайте, что маячило в ту военную пору перед глазами мальчика, живущего на побережье! Дойдя до Уолстонбери – а до него было рукой подать, – я видел паруса французских *masse-magées*<sup>7</sup> и каперов. Не раз слышал я и гром пушек, доносящийся с моря. Моряки рассказывали нам, как, отплыв поутру из Лондона, они до наступления ночи уже принимали бой или как, отплыв из Портсмута и еще видя огни маяка Сент-Хеленс, они своими ноками реев уже задевали ноки реев противника. Вся их жизнь проходила в постоянной опасности, и именно это привлекало к ним наши сердца, и, сидя зимой у огня, мы без конца говорили о нашем дорогом Нельсоне, о Кадди Коллингвуде, о Джонни Джервисе и всех прочих не как о важных адмиралах, увенчанных титулами и званиями, но как о добрых друзьях, которых мы любили и почитали превыше всех. Во всей Англии не нашлось бы мальчишки, который не мечтал бы сражаться под их командой.

Но теперь, когда наступил мир и корабли, что совсем недавно бороздили Ла-Манш и Средиземное море, стояли расснащенные в гаванях, морские просторы манили нас куда меньше. Теперь я дни и ночи напролет мечтал о Лондоне, об этом огромном городе, где живут мудрецы и знаменитости, откуда стремится неиссякаемый поток экипажей и толпы запыленных людей, которые мелькают у нас перед окнами. Именно эта сторона столичной жизни открылась мне прежде всего, и поэтому в моем мальчишеском воображении Лондон был как бы огромной конюшней с бесчисленным множеством карет, которые разъезжались по всем дорогам Англии. Но потом я услышал от Чемпиона Гаррисона, что там живут боксеры, и от батюшки, что там живут адмиралы, и матушка рассказала мне про жизнь ее брата и его знаменитых друзей, и в конце концов меня стало снедать нетерпение, я жаждал увидеть собственными глазами это поразительное сердце Англии. Поэтому приезд дяди казался мне лучом света во тьме, хотя я не смел надеяться, что он возьмет меня с собой на те высоты, где он обитал. Матушка же, напротив, так верила то ли в его доброе сердце, то ли в свою способность убеждать, что сразу же принялась тайком готовить все необходимое для моего отъезда.

Но если даже меня, покладистого и спокойного, угнетала ограниченность сельского существования, то какой же мукой было оно для живого и пылкого Джима! Я впервые почувствовал, что в сердце у него угнездилась горечь, когда через несколько дней после того, как пришло письмо от дяди, мы с Джимом бродили по холмам.

– Что же мне делать, Родди? – воскликнул он. – Я кую подкову, и зачеканиваю кромку, и зажимаю ее клещами, и заклепываю ее, и пробиваю в ней пять дырок – и вот она уже готова. Потом я кую другую подкову и третью, и раздуваю мехи, и подсыпаю уголь в горн, и подпиливаю два-три копыта, и на том кончается дневная работа, а назавтра опять все сначала, и так изо дня в день. Ну неужели я только для этого и родился на свет?

---

<sup>7</sup> Каботажные суда (*франц.*).

Я поглядел на его гордый орлиный профиль, на высокую гибкую фигуру и подумал, что, наверно, во всей Англии нет юноши красивее и привлекательнее.

– Твое место в армии или во флоте, Джим, – сказал я.

– Хорошо тебе говорить! – воскликнул он. – Но если ты пойдешь во флот, а, видно, так оно и будет, ты пойдешь офицером и, значит, будешь приказывать. А я буду среди тех, кто рожден лишь исполнять приказы.

– Офицер тоже исполняет приказы высших начальников.

– Но офицера никто не выпорот. Несколько лет назад я видел в трактире одного беднягу, у него вся спина была изрезана красными полосами – это боцман его отделал плетью. «Кто же это приказал вас выпорот?» – спросил я. «Капитан», – ответил он. «А что бы вам было, если б вы убили его на месте?» – спросил я. «Повесили бы на ноке рея», – ответил он. «Значит, я бы там и болтался, будь я на вашем месте», – сказал я и сказал это от чистого сердца. Я ничего не могу с собой поделать, Род! Сидит во мне что-то такое, и никуда от этого не денешься!

– Знаю я, ты горд, как Люцифер, – сказал я.

– Что ж делать, Родди, такой уж я уродился, и ничего тут не поделаешь. Конечно, так труднее жить. Я непременно должен быть сам себе хозяином, и на свете есть только одно место, где я могу этого добиться.

– Где же, Джим?

– В Лондоне. Мисс Хинтон столько рассказывала мне про него, что, мне кажется, я его знаю как свои пять пальцев. Она любит про него рассказывать, а меня хлебом не корми – дай послушать. Я все держу в голове, я прямо вижу, где театры, где река течет, где королевский дворец, а где дворец принца; и где живут боксеры, я тоже знаю. В Лондоне я мог бы добиться признания.

– Как?

– Неважно, Род. Я знаю, что мог бы, и непременно добьюсь. «Обожди! – говорит дядя. – Обожди, и ты получишь все, чего желаешь». Он всегда так говорит, и тетка тоже. А почему я должен ждать? Чего я здесь дожусь? Нет, Родди, не стану я больше губить свою молодость в этом захолустье, сниму-ка я фартук, да и пойду искать счастья в Лондоне и уж вернусь в Монахов Дуб не хуже вон того господина.

Он кивнул в сторону дороги; по ней из Лондона катила малиновая коляска, в которую цугом была впряжена пара гнедых кобыл. Вожжи и вся сбруя желтовато-коричневые, на самом джентльмене – редингот в цвет сбруи, а на запятках стоит слуга в темной ливрее. Они промелькнули мимо нас в облаке пыли, и я лишь мельком увидел бледное, красивое лицо хозяина и темную, высохшую физиономию слуги. Я бы никогда о них и не вспомнил, если бы, подойдя к селению, не увидел эту коляску снова: она стояла у ворот гостиницы, и конюхи суетливо выпрягали лошадей.

– Джим! Да это ж, наверно, мой дядя! – воскликнул я и со всех ног кинулся домой.

У наших дверей стоял темнолицый слуга. В руках у него была подушечка, а на ней – крошечная пушистая болонка.

– Прошу прощения, сударь, – обратился он ко мне самым учтивым тоном, – я не ошибся в своем предположении, это действительно дом лейтенанта Стоуна? В таком случае, быть может, вы будете так любезны передать миссис Стоун записку от ее брата, сэра Чарльза Треджеллиса – сэр Треджеллис сию минуту вверил эту записку моему попечению.

Его цветистая речь привела меня в полное замешательство – я в жизни не слышал ничего подобного. На его иссохшем лице темнели глазки-буравчики, и он в одно мгновение просверлил ими меня, наш дом, испуганное лицо матушки, выглянувшей из окна. Родители были в гостинной, и матушка прочла нам записку дяди.

«Дорогая Мэри, – писал он, – я остановился в гостинице, так как я несколько *ravagé*<sup>8</sup> из-за пыли на ваших суссекских дорогах. Надеюсь, после лавандовой ванны я вновь обрету возможность появиться перед дамой. А пока посылаю в залог Фиделию. Пожалуйста, дай ему полпинты подогретого молока и добавь туда шесть капель неразведенного коньяку. Существа милее и преданнее не сыскать в целом свете. *Toujours a toi*<sup>9</sup>

*Чарльз*».

– Пусть он войдет! Пусть войдет! – радушно воскликнул батюшка и кинулся к дверям. – Входите, мистер Фиделию. У каждого свой вкус, и, по-моему, грешно разводить шесть капель полпинтой – это ведь будет уже не грог, а так, водица. Но если вам так нравится, сделайте одолжение.

По темному лицу слуги промелькнула улыбка, но в следующее же мгновение на нем снова была почтительная маска.

– Вы находитесь во власти некоторого заблуждения, сэр, если мне позволено будет так сказать. Меня зовут Амброз, и я имею честь быть камердинером сэра Чарльза Треджеллиса. А Фиделию – вот он, на подушке.

– Тьфу, да это пес! – с отвращением сказал батюшка. – Положите его у камина. И почему его надо поить коньяком, когда столько христиан не могут себе этого позволить?

– Ну что ты, Энсон! – сказала матушка, принимая из рук слуги подушку. – Передайте, пожалуйста, сэру Чарльзу, что его желание будет исполнено и что мы ждем его в любое удобное ему время.

Слуга мгновенно исчез, но через несколько минут вернулся с плоской коричневой корзинкой.

– Это закуска, сударыня, – сказал он. – Вы позволите мне накрыть на стол? Сэр Чарльз привык к определенным блюдам и пьет лишь некоторые вина, так что, когда мы едем в гости, мы берем их с собой.

Он раскрыл корзинку, и через минуту стол уже сверкал серебром и хрусталем и был уставлен всевозможными деликатесами. Амброз делал все так быстро, ловко и бесшумно, что покорила не только меня, но и батюшку.

– Если вы так же отважны, как и скоры на руку, из вас вышел бы отличный моряк, – сказал он. – Вам никогда не хотелось иметь честь служить своему отечеству?

– Я имею честь, сэр, служить сэру Чарльзу Треджеллису, и другого хозяина мне не надо, – ответил Амброз. – Теперь я доставлю из гостиницы несессер, и тогда все будет готово.

Он вернулся, неся под мышкой большую, отделанную серебром шкатулку, и сразу же вслед за ним появился и сам джентльмен, чей приезд вызвал весь этот переполох.

Когда дядя вошел в комнату, я первым делом заметил, что один глаз у него распух и был величиною с яблоко. При виде этого чудовищного блестящего глаза у меня перехватило дыхание. Но почти тотчас я разглядел, что он просто держит перед глазом круглое стеклышко и оно-то и увеличивает глаз. Он оглядел всех нас по очереди, потом очень изящно поклонился матушке и поцеловал ее в обе щеки.

– Разреши сделать тебе комплимент, дорогая Мэри, – сказал он удивительно приятным, мелодичным голосом. – Уверяю тебя, деревенский воздух сотворил с тобой истинное чудо, и я буду горд видеть мою красавицу-сестру на Пэл-Мэл. Ваш слуга, сэр, – продолжал он, протягивая руку отцу. – Всего неделю назад я имел честь обедать с моим другом, лордом Сент-Винсентом, и воспользовался случаем упомянуть ваше имя. Смею вас заверить, сэр, что в Адми-

---

<sup>8</sup> Измучен (*франц.*).

<sup>9</sup> Всегда твой (*франц.*)

ралтействе вас помнят, и, надеюсь, вы в скором времени ступите на ют вашего собственного семидесятичетырехпушечного корабля. А это, видно, и есть мой племянник?

Он дружески положил руки мне на плечи и оглядел меня с ног до головы.

– Сколько тебе лет, племянник? – спросил он.

– Семнадцать, сэр.

– Ты выглядишь старше. На вид тебе меньше восемнадцати не дашь. Он выглядит вполне сносно, Мэри, право же, вполне сносно. Он не умеет себя подать, ему не хватает *tournaire*<sup>10</sup> – в нашем неуклюжем языке для этого нет слова. Но вид у него цветущий.

Дядя переступил порог нашего дома всего минуту назад, но уже успел поговорить с каждым из нас, причем сделал это так легко и изящно, что казалось, будто он знаком со всеми нами долгие годы. Теперь он стоял на коврике перед камином, между матушкой и отцом, и я мог его как следует разглядеть: очень крупный мужчина, широкоплечий, статный, с тонкой талией, широкими бедрами, стройными ногами и на редкость маленькими ступнями и руками. Лицо у него было бледное, красивое, выдающийся подбородок, резко очерченный нос, большие, голубые, широко раскрытые глаза, в глубине которых все время плясали лукавые огоньки. Одет он был в темно-коричневый длиннополый сюртук с высоким, до самых ушей, воротником; черные панталоны, шелковые чулки и очень маленькие остроконечные туфли, начищенные до такого блеска, что они сверкали при малейшем движении; жилет черного бархата открывал взгляду вышитую манишку и высокий гладкий белый галстук, завязанный под самым подбородком, так что он держал голову очень высоко. Дядя стоял легко, непринужденно, заложив большой палец одной руки в прорезь жилета, а два пальца другой – в кармашек. Я глядел на него с гордостью: такой великолепный господин с такими уверенными манерами приходится мне кровной родней! И по глазам матушки, когда они обращались на него, я видел, что она чувствует то же, что и я.

Все это время Амброз стоял в дверях, точно бронзовое изваяние, держа в руках большую, оправленную в серебро шкатулку. Теперь он переступил порог.

– Прикажете отнести это в вашу спальню, сэр Чарльз? – спросил он.

– Ах, прошу прощения, сестра, – воскликнул дядя, – я столь старомоден, что у меня есть свои принципы – в наш развращенный век это анахронизм, я знаю! Один из моих принципов: во время путешествий всегда держать при себе мою *batterie de toilette*<sup>11</sup>. Никогда не забуду, какие муки я претерпел несколько лет назад из-за того, что забыл об этой предосторожности. Должен отдать справедливость Амброзу: это было еще до того, как он занялся моими делами. Мне пришлось два дня подряд надевать одни и те же манжеты. На третье утро слуга был так потрясен видом моих страданий, что разрыдался и принес пару манжет, которые он у меня украл.

Дядя рассказывал все это с печальным лицом, но в глазах у него плясали все те же лукавые огоньки. Он протянул батюшке раскрытую табакерку, а Амброз тем временем вышел из комнаты следом за матушкой.

– Если вы возьмете понюшку из моей табакерки, вы окажетесь сопричисленным к самому блестящему обществу.

– Неужели, сэр! – коротко ответил батюшка.

– Моя табакерка к вашим услугам, ведь вы мой свояк, и к твоим тоже, племянник, и прошу тебя, возьми понюшку. Это знак самого искреннего моего благорасположения. Кроме здесь присутствующих, к ней допущены, пожалуй, всего четыре человека: принц, разумеется; потом мистер Питт; мсье Отто, французский посланник, и лорд Хоксбери. Правда, мне иногда кажется, что с лордом Хоксбери я поспешил.

---

<sup>10</sup> Осанка (франц.).

<sup>11</sup> Туалетные принадлежности (франц.).

– Весьма польщен, сэ, – сказал отец, подозрительно глядя на гостя из-под кустистых бровей: лицо у него серьезное, а в глазах бесенята, кто его знает, как следует отнестись к его словам.

– Женщина, сэ, может дарить любовь, – сказал дядя. – Мужчина – право пользоваться своей табакеркой. Ни то, ни другое нельзя предлагать кому попало. Это дурной тон, нет, хуже, это безнравственность. Как раз на днях у Ватье я положил на стол открытую табакерку, и вдруг какой-то ирландский епископ бесцеремонно запустил в нее пальцы. «Человек, – крикнул я, – мою табакерку замарали, уберите!» Епископ, разумеется, вовсе не желал меня оскорбить, но эти господа должны знать свое место.

– Епископ! – воскликнул батюшка. – Высоко берете, сэ.

– Да, сэ, – ответил дядя, – лучшей эпитафии на своей могиле я бы не желал.

Тут вошла матушка, и мы все направились к столу.

– Прости, что я привез с собой целую кладовую, Мэри, пусть это не покажется тебе неуважительным. Но я нахожусь под наблюдением Абернети и должен воздерживаться от ваших жирных сельских кушаний. Этот скарредный шотландец разрешает мне только немного белого вина и холодную птицу.

– Вот бы вам попасть на блокирующие суда, сэ, когда дует левантинец, – сказал батюшка. – Одна солонина да червивые сухари, да иногда еще посыльное судно привезет ребра жесткого, как подошва, берберийского быка. Вот где вам была бы голодная диета, сэ.

Дядя сразу же принялся расспрашивать батюшку про флотскую службу, и все время, пока мы сидели за столом, отец рассказывал о Ниле, о блокаде Тулона и осаде Генуи – обо всем, что он видел и делал. И всякий раз, когда отец замолкал, подыскивая нужное слово, дядя тут же ему подсказывал, так что трудно было понять, кто же из них осведомлен лучше.

– Нет, я почти ничего не читаю, – сказал дядя, когда батюшка с удивлением спросил, откуда ему все известно. – Стоит мне заглянуть в газету, и я сразу вижу: «Сэр Ч. Т. сделал то-то» или «Сэр Ч. Т. сказал то-то», – так что я совсем перестал просматривать газеты. Но к человеку моего положения все известия стекаются сами собой. Герцог Йоркский рассказывает мне утром о делах в армии, днем лорд Спенсер болтает со мной о флоте, а Дандес шепчет вечером мне на ушко, что произойдет на заседании кабинета министров, так что мне вовсе незачем читать «Таймс» или «Морнинг кроникл».

Тут он перешел к рассказам о лондонском высшем свете – он рассказывал батюшке о его начальниках из Адмиралтейства, а матушке – о городских красавицах и знатных дамах, которых он встречал на аристократических балах в залах Алмэка, и все это легким, беспечным тоном, так что никто не знал, то ли смеяться, то ли принимать все это всерьез. Ему, верно, льстило, что мы все трое с жадностью глотаем каждое его слово. Одних людей он ставил высоко, других пониже, но даже и не пытался скрыть свое глубокое убеждение, что один человек выше всех, что именно в сравнении с ним надо оценивать всех прочих и человек этот – сэ, Чарльз Треджеллис.

– Что же касается короля, – сказал он, – я, разумеется, l'ami de famille<sup>12</sup> и даже вам могу рассказать не все, ибо пользуюсь его особым доверием.

– Боже, благослови короля и храни его от всего дурного! – воскликнул батюшка.

– Приятно слышать, – сказал дядя. – Только в провинции можно найти искреннюю преданность, в городе сейчас модно насмехаться и подтрунивать над подобными чувствами. Король благодарен мне, потому что я всегда проявлял интерес к его сыну. Ему приятно сознавать, что среди людей, окружающих принца, есть человек со вкусом.

– А принц? – спросила матушка. – Он хорош собой?

---

<sup>12</sup> Друг дома (семья) (франц.).

– Он прекрасно сложен. Издали его даже принимают за меня. И одевается со вкусом, хотя, если мы долго не видимся, он начинает меньше следить за собой. Вот увидите, завтра я непременно обнаружу на его сюртуке какую-нибудь неразглаженную складку.

Вечер выдался прохладный, и мы перебрались поближе к камину. Зажгли лампу, батюшка попыхивал трубкой.

– Вы как будто впервые в Монаховом Дубе? – спросил он дядю.

Лицо дяди вдруг стало очень серьезным и строгим.

– Впервые после многих лет, – ответил он. – В последний раз я был здесь, когда мне был всего двадцать один год. И этот свой приезд я никогда не забуду.

Я знал, что он говорит о посещении замка в день убийства, и по лицу матушки видел, что и она это понимает. Батюшка же либо никогда не слышал о случившемся, либо все забыл.

– Вы тогда останавливались в гостинице? – спросил он.

– Я останавливался у злополучного лорда Эйвона. Это было, когда его обвинили в убийстве младшего брата и он бежал из Англии.

Мы все притихли, а дядя оперся подбородком на руку и задумчиво глядел в огонь. Еще и сейчас, стоит мне закрыть глаза, я вижу, как играют отблески пламени на его гордом, красивом лице, как мой дорогой отец, огорченный тем, что коснулся такого ужасного воспоминания, искоса поглядывает на него между затяжками.

– С вами это, верно, тоже случилось, сэр, – сказал наконец дядя. – Кораблекрушение или битва отнимали у вас дорогого друга, а потом за ежедневными делами и занятиями вы забывали его, и вдруг какое-то слово или место напомнят вам о нем, и вы чувствуете, что боль ваша так же остра, как и в первый день потери.

Батюшка кивнул.

– Именно это случилось со мной сегодня. Я никогда не сходил близко с мужчинами (о женщинах я не говорю), и в жизни у меня был лишь один друг – лорд Эйвон. Мы были почти ровесники, он, быть может, двумя-тремя годами старше, но наши вкусы, суждения, характеры были схожи; только он отличался одной особенностью – он был отчаянно горд, другого такого гордеца мне встречать не приходилось. Если отбросить мелкие слабости, неизбежные в светском молодом человеке, *les indiscretions d'une jeunesse dorée*<sup>13</sup>, клянусь вам, я не знавал человека лучше.

– Тогда как же он совершил такое преступление? – спросил отец.

Дядя покачал головой.

– Не раз и не два задавал я себе этот вопрос и сегодня понимаю это еще меньше, чем когда бы то ни было.

От изысканной беспечности дяди не осталось и следа, он вдруг стал печален и серьезен.

– Точно ли это сделал он? – спросила матушка.

Дядя пожал плечами.

– Я бы рад думать иначе. Иногда мне казалось, что виной всему его безмерная гордость, которая довела его до безумия. Вам известно, как он вернул нам деньги, которые мы проиграли в ту ночь?

– Нет, мы ничего не знаем, – ответил отец.

– Это очень давняя история, хотя она не кончилась еще и сегодня. Мы играли в карты два дня подряд. Было нас четверо – лорд Эйвон, его брат капитан Баррингтон, сэр Лотиан Хьюм и я. О капитане я знал только, что репутация у него не блестящая и что он по уши в долгу у ростовщиков. Сэр Лотиан... с того дня он успел завоевать дурную славу – ведь это тот самый сэр Лотиан, который застрелил на Меловой ферме лорда Кэртона. Но в те дни о нем еще не было известно ничего дурного. Старшему из нас едва ли минуло двадцать четыре года. И, как

---

<sup>13</sup> Шалости золотой молодежи (*франц.*).

я уже говорил, мы играли до тех пор, пока капитан совсем не очистил наши кошельки. Все мы отчаянно проигрались, но хуже всех пришлось хозяину дома.

Теперь я расскажу вам то, о чем ни за что бы не рассказал суду. В ту ночь мне все не удалось забыться сном, как часто бывает, когда засиживаешься допоздна. Я снова и снова вспоминал, какая шла карта, и ворочался в постели с боку на бок, как вдруг со стороны комнаты капитана Баррингтона донесся крик, за ним другой, громче. Минут через пять кто-то прошел по коридору; не зажигая света, я приоткрыл дверь и выглянул, опасаясь, что кому-то стало дурно. По коридору прямо на меня шел лорд Эйвон. В одной руке он нес оплывающую свечу, в другой – коричневый мешок, в котором при каждом его шаге что-то позвякивало. Лицо у него было такое страдальческое, искаженное, что вопрос застыл у меня на губах. И, прежде чем я успел вымолвить хоть слово, он скрылся в спальне и тихонько притворил дверь.

Проснувшись утром, я застал его у своей постели. «Чарльз, – сказал он, – я не могу примириться с тем, что ты так проигрался у меня в доме. Все твои деньги у тебя на столе».

Я посмеялся над его щепетильностью, заявил, что, окажись я в выигрыше, я бы уж непременно потребовал выигранные деньги, и потому странно не дать мне расплатиться, когда я в проигрыше; но все было напрасно.

«Ни я, ни брат не притронемся к этим деньгам, – сказал он. – Вот они здесь лежат, и можешь делать с ними, что хочешь».

Он не стал слушать никаких возражений и, как безумный, кинулся вон из комнаты. Но, может, вам уже известны все эти подробности, а мне их пересказывать мука!

Отец не сводил с сэра Чарльза глаз, и забытая трубка дымилась у него в руке.

– Пожалуйста, сэр, доскажите все до конца! – попросил он.

– Хорошо. Я оделся, это заняло у меня не более часа – в те дни я был не так требователен, как теперь, – и за завтраком встретился с сэром Лотианом Хьюмом. С ним произошло то же, что и со мной, и он жаждал увидеть капитана Баррингтона и выяснить, почему он поручил брату вернуть нам деньги. Во время разговора я случайно взглянул на потолок и увидел... увидел...

Дядя весь побелел – так живо представилось ему все, что произошло в то утро, – и провел рукой по глазам.

– Потолок был красным, – сказал он, содрогнувшись, – красным с черными щелями, и из каждой щели... но тебе будут сниться страшные сны, сестра. Короче говоря, мы ринулись вверх по лестнице, которая вела прямо в комнату капитана, и там мы его увидели – в горле у него зияла рана. Неподалеку валялся охотничий нож – нож лорда Эйвона. Рука мертвого сжимала кружево – манжету лорда Эйвона. На каминной решетке были рассыпаны обгоревшие бумаги – бумаги лорда Эйвона... Несчастный мой друг, какое безумие толкнуло тебя на такой страшный шаг!

В глазах у дяди уже не плясали насмешливые огоньки, в манерах его не осталось и следа изысканного сумасбродства. Он говорил просто, ясно, без тени той лондонской манерности, которая вначале так меня поразила. То был совсем другой человек, человек с сердцем и умом, и таким он понравился мне куда больше прежнего.

– Что же сказал лорд Эйвон? – спросил батюшка.

– Ничего. Он бродил по дому, точно во сне, и в глазах у него застыл ужас. До конца следствия никто не решался его арестовать, но как только следственный суд признал его виновным в преднамеренном убийстве, констебли поскакали в замок. Однако лорда Эйвона там уже не было. На следующей неделе разнесся слух, что его видели в Вестминстере, потом – что он уплыл в Америку, и больше о нем ничего не известно. День, когда будет доказано, что лорда Эйвона нет в живых, станет самым радостным днем для сэра Лотиана Хьюма: ведь сэр Лотиан – его ближайший родственник, а без такого доказательства он не может наследовать ни титул, ни имущество.

От этой мрачной истории все мы погрузстнели. Дядя протянул руки к огню, и я заметил, что они такие же белые, как обрамляющие их кружевные манжеты.

– Я не знаю, каково сейчас в замке, – задумчиво сказал он. – Он и прежде не очень-то веселил глаз – еще до того, как на него пала эта тень. Для подобной трагедии трудно было бы сыскать более подходящую сцену. Но прошло семнадцать лет, и, может быть, даже этот страшный потолок...

– Пятно все еще видно, – сказал я.

Не знаю, кто из них троих был поражен сильнее, – ведь матушка ничего не знала о событиях той ночи. Пока я рассказывал, они не сводили с меня изумленных глаз, а дядя сказал, что мы держались молодцами и что, по его мнению, в нашем возрасте мало кто вел бы себя столь отважно, и у меня прямо голова закружилась от гордости.

– Ну, а призрак, должно быть, вам просто померещился, – сказал он. – Воображение играет с нами странные шутки; и хотя у меня, например, нервы крепкие, а и я не уверен, что мне ничего не привидится, окажись я в полночь в комнате, где на потолке расплылось кровавое пятно.

– Дядя, – сказал я, – я совершенно ясно видел какую-то фигуру, вот как вижу сейчас этот огонь, и слышал шаги так же отчетливо, как сейчас треск хвороста. И потом, не могли же мы оба так ошибиться.

– Да, это, пожалуй, верно, – задумчиво сказал он. – Так говоришь, лица ты не разглядел?

– Было слишком темно.

– А фигуру?

– Только силуэт.

– И он поднялся по лестнице?

– Да.

– И исчез в стене?

– Да.

– В какой части стены? – воскликнул кто-то позади нас.

Матушка вскрикнула, батюшка уронил трубку на каминный коврик. Я вскочил так стремительно, что у меня перехватило дыхание, и увидел у самой двери дядиного камердинера Амброза – он стоял в тени, но на лицо его падал свет, в меня впились два горящих глаза.

– Как прикажете вас понять, милейший? – спросил дядя.

Странно было видеть, как погасло лицо Амброза, как огонь и нетерпение уступили место бесстрастной маске лакея. Глаза еще блестели, но лицо уже через мгновение выражало лишь привычную невозмутимость.

– Прошу прощения, сэра Чарльз, – сказал он. – Я пришел узнать, не будет ли от вас каких приказаний, но не решился прерывать рассказ молодого джентльмена. Боюсь, рассказ этот меня очень взволновал.

– В первый раз вижу, чтобы вы так забылись, – сказал дядя.

– Я надеюсь, вы простите меня, сэра Чарльз, если вспомните, кем для меня был лорд Эйвон.

Он сказал это с большим достоинством и, поклонившись, вышел вон.

– Придется, видно, его простить, – сказал дядя, к которому вдруг снова вернулся его изысканно беспечный тон. – Человек, умеющий сварить чашку шоколада или завязать галстук так, как Амброс, всегда заслуживает снисхождения. Бедняга служил камердинером у лорда Эйвона и в ту роковую ночь тоже был в замке, к тому же он питал глубокую привязанность к своему прежнему хозяину. Но наша беседа почему-то приняла печальный оборот, сестра, и теперь, если угодно, мы снова вернемся к туалетам графини Ливен и к дворцовым сплетням.

## Глава 6

### Мое первое путешествие

В тот вечер батюшка рано отослал меня спать, а мне очень хотелось посидеть еще: ведь каждое слово дяди было мне интересно. Его лицо, манеры, широкие, плавные движения белых рук, врожденное чувство превосходства, которое ощущалось в нем, но не подавляло, причудливые речи – все вызывало во мне интерес, все поражало. Но, как я потом узнал, они собирались говорить обо мне, о моем будущем, так что я был отправлен наверх, и далеко за полночь до меня еще доносились глубокие раскаты отцовского баса, мягкий, выразительный голос дяди и изредка негромкие восклицания матушки.

Наконец я заснул, но почти сразу проснулся: что-то влажное коснулось моего лица, и меня обхватили две теплые руки. Матушка прижалась щекой к моей щеке, я слышал ее всхлипывания, чувствовал, как она вся дрожит во тьме. При слабом свете, который пробивался сквозь оконный переплет, видно было, что она в белом и волосы ее распушены по плечам.

- Ты не забудешь нас, Родди? Не забудешь?
- О чем это вы, матушка?
- Твой дядя, Родди... хочет увезти тебя от нас.
- Когда?
- Завтра.

Да простит меня бог, но как радостно забилося мое сердце, а матушкино – и ведь оно было совсем рядом с моим – разрывалось от горя!..

- О матушка! – воскликнул я. – Неужели в Лондон?

– Сперва в Брайтон, он хочет представить тебя принцу. А на следующий день в Лондон, ты там познакомишься с высокопоставленными особами, Родди, и научишься смотреть сверху вниз... смотреть сверху вниз на своих бедных, простых, старомодных родителей.

Я обнял ее, желая утешить, но она плакала так горько, что, хоть мне и минуло уже семнадцать и я считал себя мужчиной, я и сам не выдержал и заплакал, но у меня не было женского умения рыдать беззвучно, и я стал так громко и тонко всхлипывать, что в конце концов матушка совсем забыла свою печаль и рассмеялась.

– Вот бы Чарльз порадовался, если бы видел, как мы отвечаем на его доброту! – сказала она. – Успокойся, милый, не то ты его разбудишь.

- Если вы так горюете, я не поеду! – воскликнул я.

– Нет, дорогой, тебе надо ехать, ведь, может, у тебя за всю жизнь не будет другого такого случая. И подумай, как мы будем гордиться, когда услышим твое имя среди имен высокопоставленных друзей Чарльза! Но только обещай мне не играть в карты, Родди. Ты ведь слышал сегодня, что из этого порой получается.

- Обещаю, матушка.
- И пить будешь с осторожностью, да, Родди? Ты молод и к вину непривычен.
- Да, матушка.

– А еще держись подальше от актеров, Родди. И не снимай теплого белья до самого июня. Молодой Овертон оттого ведь и умер. Одевайся со тщанием, Родди, чтоб дяде не пришлось за тебя краснеть, – он ведь славится своим вкусом. Делай все, как он тебе велит. А когда ты не в свете, надевай свое домашнее платье – коричневый сюртук у тебя еще совсем как новый; да и синий можно носить, только надо его прогладить и сменить подкладку – тебе их хватит на все лето. Я достала твой воскресный сюртук с нанковым жилетом, и коричневые шелковые чулки, и туфли с пряжками, ты ведь завтра поедешь к принцу. Смотри по сторонам, когда будешь в Лондоне переходить улицы. Говорят, там экипажи так мчатся, что и вообразить невозможно.

Перед сном аккуратно складывай одежду, Родди, и не забывай помолиться на ночь – тебе предстоят многие искушения, милый, а меня поблизости не будет, и я не смогу тебя от них уберечь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.